ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

ОТРАЖЕНИЯ



YMCA-PRESS
PARIS

ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

ОТРАЖЕНИЯ

Обложка СТАРИЦКОЙ

YMCA-PRESS
PARIS
1975

Хочу выразить мою благодарность Вере Александровне Допера, много потрудившейся над корректурой этой книги.

З. Ш.

ПАМЯТЬ не фотографический аппарат, воспоминание не снимок, который для всех и каждого одинаково восстанавливает кажущуюся реальность событий и лиц. Память нечто очень личное, субъективное. Она питается зрением и слухом того, кто видит и кто слышит не только слово, произнесенное другим, но и звучание этого слова. Память не чужда творчеству. Она может украсить или очернить прошлое, часто непроизвольно, как присуще всякому искусству. И еще случается, что память становится, наоборот, послушна воле того, кто ею пользуется для того, чтобы преувеличить свое значение и связь с этим прошлым. Вот отчего мемуары об одних и тех же людях, об одних и тех же событиях, так разнообразны и часто противоречивы.

В области воспоминаний достоверности нет. Это не паспорт, не полицейский рапорт, оттого в них можно встретить то, что выше и вернее видимости, и также часто не только внутренний облик тех, о ком они написаны, но и личность самого автора воспоминаний. Да и то сказать, каждый из нас в общении с одним человеком совсем не таков, каков он в обращении с прочими. Различные у нас притягивания и отталкивания. Даже любовь не есть самый верный ключ к познанию, она может ослеплять не меньше ненависти.

Часто близкие к знаменитостям люди, по своему эмоциональному желанию их представить потомству в самых светлых красках, впадают в «агиографию», тогда как враги и завистники знаменитых людей стараются их очернить в глазах читателей и ухватываются за все, что было в них смешного и темного.

Литературоведам приходится с этим считаться — «У каждого своя правда», по Пиранделло. Правда же писателя, поэта, художника, композитора — это его творчество.

И все же любопытство к личности художника не является чем-то совершенно праздным. Романизированные или строго научные биографии великих людей издавна — вспомним «Жизни» Плутарха — имели большой успех, как в духовном плане Жития Святых. Плутарх ставил своих героев примером гражданских добродетелей. В жизнеописаниях художников не так уж часто найдем мы примеры святости или добродетелей. Зато мы узнаем из них какую-то крупицу, часть тайны творчества и трагедии исключительности. А в этих «отражениях» писателей первой эмиграции выступает трудная их судьба.



Да простят мне не абсолютную точность датировки встреч и приводимых здесь писем. Моя принадлежность к двум культурам, русской и французской, многообразность моих интересов и пестрота занятий, да и событий, в которых я принимала участие, затрудняют мне хронологию, и можно считать чудом, что при постоянных переездах из страны в страну большая часть архивов и записок как-то сохранилась.



НАЧАЛО

МНЕ было 17 лет и я жила в Брюсселе, когда мой брат, старше меня на четыре года (тогда студент Лувенского университета), с детства писавший стихи и, как и я, великий любитель чтения, стал одним из членов-организаторов клуба русских литераторов, «Единорог». Литераторов, честно сказать, в интеллектуально затхлой эмигрантской среде Бельгии было не много. Граф Перовский-Петрово-Соловово, Иван Наживин, Константин Льдов (старый эмигрант), барон Вревский, Леонид Чацкий (Страховский), Георгий Цебриков...

С ними я и повстречалась, как с первыми представителями русской культуры — но особенного влеченья, ни даже простого интереса к ним не почувствовала. Все же посещала редкие публичные собрания «Единорога».

Учившись понемногу «чему-нибудь и как-нибудь» в разных местах, куда история забрасывала мою семью, кроме любви к литературе и истории, насыщаемой с раннего детства книжным запоем, никакого образования у меня не было. А прочла я уже многое, особенно в нашем тульском имении «Матово», от 1917 до 1918 года, когда моя мать, как бы предчувствуя, что от матовских книг вскоре ничего, кроме

пепла, не останется, открыла мне безо всякой цензуры помещичью библиотеку. Были тут и Шекспир и Мольер, Толстой и Боборыкин, Лесков и Лажечников, Надсон и Фет, Писемский и Достоевский, Белинский и Вальтер Скотт, вся Нива и все приложенья к Ниве — добрая окрошка, из которой я, не все, конечно, понимая и в шкалах ценностей не разбираясь, все же вынесла немало, а главное — пристрастилась к чтению даже трудных для 11-летнего ума книг.

Члены «Единорога» никак не отвечали моему представлению о писателях и поэтах, которых я воображала себе совсем не похожими на обычных людей. Старый Перовский был сумрачный, тяжелый человек, Страховский не понравился псевдонимом «Чацкий» и моноклем, и манерностью. В Иване Наживине, бывшем толстовце, человеке неистовом (позднее, во время избрания Бунина нобелевским лауреатом, он написал статью — нигде не напечатанную — «Стокгольмские идиоты или Венчанье мертвеца») увидала нашего черноземного кулака. Константин же Льдов, если в наружности — пышность волос и галстук-лавальер — и имел нечто поэтическое, все же мне не понравился. (Я не знала, что перед своим возвращением в Россию Гумилев оставил ему в 18-ых годах какие-то рукописи). И из разговоров литераторов я только и запомнила рассказ Вревского, как молодым — не помню, офицером или студентом — он пришел к В. В. Розанову и тот, на пороге, спросил его: «А вы женаты, молодой человек?» — «Нет» — «Ну, тогда нам и говорить не о чем. Женитесь, тогда приходите!»

Позднее стал близок к «Единорогу» и бельгийский поэт Роберт Вивье, женатый на русской татарке.

Два года бедного, но спокойного житья в Брюсселе позволили мне обзавестись своей маленькой библиотекой. Тогда в Берлине издавалось много русских книг, и новые имена, новая поэзия, до Матова не успевшая пробраться — Блока, Ахматовой, Гумилева, Есенина — меня пленила. А тогда, как и теперь, книга для меня более волнующа, более существенна, чем любая лекция, собрание или кружок. Эклектизм в

чтении моем был велик — Бекон и Рабиндранат Тагор, Густав Лебон и Платон, Рескин и Фарер, Зохар и Коран — все увлекало.

А брат старался меня просвещать во всех направлениях, даже повел раз слушать лекцию Эйнштейна. На экране двигались какие-то поезда, чертились какие-то схемы, и маленький человек с пушистыми волосами что-то с жаром объяснял — но с детства чувствуя непреодолимое отвращение ко всякой цифре и числу, я ничего не поняла и не запомнила, кроме облика самого Эйнштейна.

Так и осталась — при книгах, но вне литературного окружения — до приезда в Париж, в 1925 году. Но и тут, брат, оставшийся в Брюсселе и начавший издавать свой журнал «Благонамеренный», желая, вероятно, помешать моему отрыву от русского мира, назначил меня представителем «Благонамеренного». «Представителем» я, конечно, не была, но иногда исполняла редакторские поручения и поэтому и вошла в контакт со старшим поколением русских писателей в эмиграции.

Полная моя независимость, новое окружение, выбросили меня из гетто зарубежной России во Францию — и Франция эта была двуликой. Новый мир и блистал передо мной, и открывал свои язвы. Париж 20-х годов — это целая эпоха, даже и без денег можно было быть ее свидетелем. «Вол на крыше», первые негритянские ритмы, пробившиеся в Европу, занимательные игры Кокто, Пруст, Бергсон, Андре Жид, Питоевы и «Федра» Расина, пульсация новой жизни и, все еще ощутимые, прошлой. И рядом — то, что по практическим занятиям моей школы мне открывалось, но было закрыто и для многих французов — приют подброшенных детей, беднота, ютившаяся в том, что тогда звали зоной, а теперь бидонвилями и слямсами, амбулатории, куда приходили лечить свои язвы бродяги, психиатрическая больница Сент-Анн, по поручению которой мы составляли анкеты. А в

другом плане — лекции в Коллеж де Франс, по психологии, политической экономии (Шарль Жид), деонтологии — рабочем вопросе.

Невероятно пестра стала моя жизнь и так увлекательна, что я почти не замечала бедности. Жила я в джунглях, в самом центре Монпарнаса, в общежитии, рядом с «Ротондой» и «Домом», куда и ходила, как на спектакль — не участником, а зрителем. Чашка кофе за стойкой или (немного дороже) вечером за столиком — вот и все, что для этого требовалось. Рано утром или после работы рабочий люд подбадривался стаканом-другим вина. Фауна же часов не знала. Тут и англо-саксы, и скандинавы, группа испанцев: кто-то говорит: «Вот Пикассо!» А неподалеку Фернанда Баррей, бывшая подруга Пикассо, и Фужита, с новой женой, Юки, розово-белой Помоной, рядом с которой еще желтее лицо мулатки Айши. излюбленной модели монпарнасцев, длинный Иван Пуни, грузный Сутин, толстый Паскин, Хемунгуэй и Цадкин. Все они пока только имена, имена и лица. Я с ними еще не общаюсь, только смотрю.

Все есть на Монпарнасе — и наркотики, и стаканы с перламутровым абсентом, и пикон-гренадин, и пьяницы, и проститутки, и мирные буржуа, которые, спустив железные ставни своих лавок, приходят на аперитив. Проходит волосатый художник, немой, жестом предлагая желающим набросать их портрет, на террасе старуха поет дребезжащим голосом репертуар Иветты Гильбер.

А где же Россия? Связь с ней все не порывается. Она собирается в церкви и у церкви, есть борщ и котлеты, в ресторанах дорогих и дешевых, от Корнилова до Медведя, смотря по возможностям, пляшет на беспорядочных почему-то всегда балах, ходит на доклады, скандалит на политических собраниях, протест предпочитая академической дискуссии; она создает церкви, школы, университеты, скаутские отряды и литературные объединения, ждет и надеется, почти без ропота принимая все испытания.

В сущности, те круги, которые в России вероятно

остались бы мне неизвестны, открылись передо мною на чужбине. Все сословия были представлены в этом первом потоке — и рабочие, и военные, и интеллигенты, и духовенство.

Оставалось со мною и семейное прошлое, в посещениях тогда еще живой родни старшего поколения, московской и петербургской, людей, скажем, «именитой» России, принявших мужественно потерю состояния и социального положения, чувствующих, что и без власти, и без денег, и без родины сущность они свою не переменили и что ничего унизительного в бедности, бесправии и тяжелой работе нет.

По воскресеньям и четвергам, в форме, с трехцветной ленточкой на погоне, водила я мой отряд гайд то к химерам Собора Парижской Богоматери, то на бейзбольную площадку, то в Медонский лес.

В политические партии не записывалась, но чувства питала абстрактно монархические. Скауты собирались, благодаря гостеприимству Алексинских [1]), в помещении газеты «Родная Земля», на 216 бульвар Распай. Я иногда по соседству заходила по вечерам на огонек в редакцию. Бывал там немногословный уже Куприн, с вкусом попивавший винцо, а на голове тюбетейка, Георгий Мейер, Михаил Осоргин и другие, часто — бывшие революционеры. Случалось, запевали они революционные песни, когда были стаканы в руке: «Первый тост за наш народ», «За святой девиз вперед!» Я ехидничала: «Вперед! Вперед до самого Парижа. Вы-то за революцию боролись, а я из-за вас нехотя свою страну потеряла».

Раз уговорила меня имперская молодежь, в которой царствовала тогда «Полежанна д'арк», красивая Нина Полежаева [2]), так трагически закончившая свою жизнь, сорвать лекцию Кусковой, и я энергично раздавила вонючий шарик на кафедре, где восседала ма-

---

[1]) Григорий Григорьевич, политич. деятель, бывш. член Гос. Думы.

[2]) Н. Полежаева во время оккупации сотрудничала с немцами и была ими же расстреляна за взяточничество.

ститая ораторша рядом с П. Н. Милюковым. Поднялся большой шум и крик и, устыдясь, я больше в таких манифестациях не участвовала.

Русский мир для меня экзотикой, конечно, быть не мог, каковы бы ни были его проявленья — от духовных подвигов до безобразий. Экзотикой была для меня Франция, да и вся западная Европа. В ней было для меня все неожиданно и красочно, даже ее слабости и ее пороки.

Задача, вставшая передо мною, была такая: как жить в трехмерном мире, помнить прошлое, питающее настоящее, и различать в них зерно будущего. Я была частью зарубежной России, той самой, которая молилась, трудилась, училась, ссорилась, пела, танцевала и... писала.



РЕМИЗОВЫ

В 1924 году, восемнадцатилетней, я отправилась в Париж, учиться в протестантской Школе Социальной работы, на 139 бульвар Монпарнас (Монпарнас был тогда еще центром международной богемы), жадная до всего, что открывалось мне в моей новой независимости, которой сопутствовала, конечно, эмигрантская бедность.

Мой брат Димитрий, бывший в то время редактором «Благонамеренного» в Брюсселе, вероятно желая привязать меня к русской литературе. сказал мне перед отъездом, что я буду его представительницей в Париже и дал мне адреса русских писателей, с которыми находился в связи.

Первый мой визит был к Ремизову. Я была в те времена невероятно застенчива со старшими, а писатели, для такого книголюба как я, казались мне совершенно необыкновенными созданиями, один их вид ввергал меня, разговорчивую со сверстниками, в самое каменное молчание. К тому же я еще не освободилась от тяжелого заиканья, внезапно возникшего у меня в детстве в Константинополе.

Ремизовы жили на 120-бис, авеню Моцарт. Мы письменно сговорились о свидании — и вот, когда, замирая. я нажала на кнопку звонка в не очень скоро открывшуюся мне дверь, показался маленький человечек, как-то особенно шуршащий ногами, сгорбленный и очкастый, со смешными, колдунскими вихорками, словно рожками, по обеим сторонам головы. Внимательно меня оглядывая и некрепко пожимая мне руку, он протянул необычным для меня говорком, и очень тихо: «Так вот, значит, вы сестра Ди-

митрия Алексеевича» и повел меня из маленькой передней в небольшую комнату. В ней не было светло, лампочка была малосильной, посреди стоял стол, не для работы, а для чая, а на веревочках, протянутых от стены к стене, висели всякие необычные предметы. Рыбья кость, висевшая рядом с мохнатым чертиком, меня особенно поразила, но еще больше поразил сам хозяин, его облик, его говор, хитрые его, как бы ощупывающие глаза, рассматривающие меня через большие круглые стекла очков, и ласковая, но не без лукавства, улыбочка.

Навстречу нам поднялся молодой человек. Ремизов нас познакомил: «Вот Владимир Диксон, поэт, а это сестра "Благонамеренного". Ну, а пока вы знакомитесь, я посмотрю, что Серафима Павловна делает» и исчез.

Владимир Диксон, американец родившийся в России, как я узнала потом, был необычайно красив и, что смутило меня еще больше, он был прекрасно одет, а я — во что добрые люди послали. Но несмотря на некоторую разницу наших лет и абсолютную разницу нашего материального состояния, Диксон, видимо, был не менее застенчив, чем я, и мы мирно сидели на наших стульях, безгласные, не глядя друг на друга, слушая как хрипят часы с кукушкой, висящие на стене. Я к тому же как-то неприятно чувствовала, что кто-то за неплотно прикрытой дверью наблюдает за нашей неловкостью: как они там, мол, разбираются!

Но вот дверь эта открылась и показался Ремизов, все с той же улыбочкой, колеблющейся между жалостливостью и издевкой. «Ну что, познакомились?»

На столе появились чайные чашки, печенье, сушки, крендельки... Я все рассматривала непонятные предметы, маячащие перед глазами, и совсем это мне не нравилось, «ведь взрослый человек, писатель, а это нарочно».

И вот вплыла Серафима Павловна, крупная и рыхлая, с голубыми, под цвет глаз, бусами на шее, поблескивая сизовато-розовыми щеками. В ней была

странная смесь необыкновенной важности и провинциальной жеманности и увидав ее впервые я вспомнила образ кустодиевской купчихи, хоть сразу и услыхала, что фамилия Задора-Довгелло знатная, литовская, а по матери С. П. была гетманской крови. Чай отвлек меня от смущения, и я продолжала быть безгласной слушательницей непонятного мне разговора между Ремизовым и Диксоном. Книг Ремизова я не читала еще, о русской палеографии, которую преподавала в Сорбонне Серафима Павловна, не имела представления и была подавлена умом и начитанностью присутствующих — вдруг из юношеского увлечения Серебряным веком оказалась в обществе Протопопа Аввакума и героев кельтских легенд, которыми увлекался Диксон.

Уходя, я была не очарована, но зачарована ремизовским миром. Был ли он чудак или только притворялся чудаком, чтобы легче было выделиться или защититься — не в мои годы можно было об этом судить, но что привлекало меня в Ремизове было сильнее того, что меня отвращало. К Серафиме Павловне интереса я не почувствовала, хотя в какой-то мере первой персоной ремизовского мира была все же она.

Я несколько раз посещала еще Ремизовых в этот 1925 год. Иногда, несмотря на заранее уговоренное свидание, дверь мне не открывали, хотя я явственно слышала, как кто-то за нею стоит и дышит, вероятно лукаво улыбаясь моему напрасному ожиданию.

Марина Цветаева говорила мне, что и ходить к Ремизову из-за этого перестала. «Пригласит, я никуда не хожу, а тут выйду. Еду из Ванв. Прихожу, звоню и слышу Ремизова и говорю ему: перестаньте, Алексей Михайлович, притворяться, я все равно слышу. А он двери не открывает»...

Встречала я у Ремизова П. П. Сувчинского с его первой женой, В. Гучковой — тогда говорилось о музыке — и внимательно-вежливого К. Мочульского, и Михаила Осоргина, который, будучи в моих глазах обыкновенным человеком, меня нисколько не сму-

щал, а иногда и несчастного, задыхающегося от туберкулеза Леонида Добронравова. Добронравов наконец попал в больницу, и сразу же Алексей Михайлович, скорбно сообщив мне об этом, послал меня навестить человека, которого я совсем не знала и которого как будто он сам не так уж ценил, так как всегда над ним подтрунивал. Добронравов умирал в общей палате. Он не узнал меня, конечно, мои тощие цветы выскользнули из его рук. Он так и не понял, кто я такая, а до привета Ремизова ему уже не было дела.

Очень характерна для Ремизова следующая история, случившаяся в 25-26 году: брат, приехав в Париж для своих издательских дел, потерял, или у него украли, точную сумму не помню и пишу предположительно, скажем, четыреста франков, о чем при свидании Ремизову и рассказал (для брата сумма была значительной). Слух об этой краже, или потере, Ремизов распространил по-своему, очень метко и оригинально. Мочульскому сказал, что сорок франков, Сувчинскому — что четыре тысячи, и когда брат спросил его о причине таких разных версий, Алексей Михайлович объяснил: «Для вас четыреста франков — много, Мочульский такой баснословной суммы и представить себе не может, а Сувчинскому, ему четыреста ничто, а четыре тысячи — понятно уже».

Вообще на мистификацию у Ремизова был прямо гений. Когда начал издаваться «Благонамеренный» в «Последних Новостях» появилась заметка: «В "Благонамеренном" начнет печататься роман Федора Степуна "Эолова Арфа"» — что вызвало, конечно, немалое впечатление и немалое удивление. Эта фантастическая новость была измышлением Алексея Михайловича «чтобы вызвать интерес» к «Благонамеренному».

Человек Ремизов был чрезвычайно проницательный, предельно зоркий, даже как будто не без дара ясновиденья, как я убедилась на опыте. В мае 1926 года я пришла к Ремизовым с Святославом Малевским-Малевичем, с которым только что познакоми-

лась. Он был тогда студентом Сорбонны (Виттиморовской стипендии) и молодым евразийцем, а евразийцы в ту пору помогали Ремизову. Влюблены мы не были, но когда прощались, Алексей Михайлович, взяв с блюдечка две сушки и скрестив руки, передал по одной Святославу и мне: «А это вам кольца», что повергло нас в немалое смущенье.

И все же случилось так, что 21 ноября 1926 года, в Сергиевском Подворье, о. Сергий Булгаков обвенчал Святослава и меня на долгую супружескую жизнь, и среди приглашенных были и Ремизовы. К свадьбе Ремизов произвел нас в кавалеры «великой и вольной обезьяньей палаты», начертя грамоту на первой странице моего альбома.

С Нансеновским паспортом моему мужу, химику, ученику Нильса Бора, делать в Европе было нечего. У инженеров была безработица вследствие очередного мирового кризиса, и в 1927 году мы уехали в Экваториальную Африку, тогда страну еще дикую, Линдберг только что перелетел через океан, почта шла морем к нам 17 дней. Туда от А. М. получали открытки — Ремизов интересовался конголезскими марками.

Снова повстречалась я с Ремизовыми уже в 30-х годах: живя в Брюсселе я «приписалась» к Парижскому Союзу молодых писателей и поэтов и в каждый мой приезд — или почти — в Париж посещала Ремизовых. Переезжали они часто. В 32-м году жили в Булони-на-Сене, 3-бис ав. Ж. В. Клеман, затем — 11 бульв. Порт-Руаяль и снова в 16-м. Редко приходила к ним одна, чаще с одним из моих приятелей — Юрием Софиевым, Иваном Шкотт (Болдыревым), Алексеем Эйснером, Борисом Очерединым, Анатолием Алферовым. Покинув их, мы частенько обменивались в каком-нибудь бистро нашими впечатлениями об этой удивительной, ни на кого не похожей чете.

В эти годы я уже могла оценить и книги Ремизова, и его разговоры, и его замечательное чтение, которым он нас, впрочем, не баловал. Но когда читал — не только Замоскворечье, но вся Россия вставала

передо мною, не Россия даже, а Русь. Я уже от своего заиканья кое-как освободилась, кое-чему научилась, и чувствовала себя с писателями старшего поколения свободнее. Все же с Ремизовым никогда не было у меня таких простых и естественных отношений, как с Буниным. И хоть я и старалась освободиться от, в некотором роде, былинного языка когда с ним говорила, все же речь моя, по мимикрии, принимала какой-то особый стиль, что меня самое очень сердило.

Да, удивительная была эта пара, начиная уже с физического облика мужа и жены. Маленький, сгорбленный колдунок, Алексей Михайлович и обширная, вальяжная, важная Серафима Павловна. Кто-то придумал сравнение: изюминка и кулич.

Очень странно — о прошлой своей жизни в России, о своей молодости, Ремизовы нам никогда не рассказывали. Одно было ясно — она властвует, он обожает. Ходили слухи об их браке, проверить их теперь трудно, будто бы оба, сосланные царским правительством, чуть ли не в Вятку, где молодые революционеры жили коммуной, встретились там. Серафима Павловна была тогда русской могучей красавицей, бело-розовой, полной, голубоглазой и царственной. Окруженная поклонниками, она на вихрастого заморыша Ремизова не только не смотрела, но даже чувствовала к нему антипатию. Случилось, что у кого-то из коммуны украли часы. Серафима Павловна сразу решила «это Ремизов! — одиночка». Ремизову объявили бойкот, а затем истинный вор был обнаружен и тогда будто бы в порыве чисто русском, Серафима Павловна предложила в виде репарации неправедно обиженному Ремизову стать его женой.

Была у них дочка, но и о дочке у Ремизовых тоже никогда не говорилось. Знали только, что она осталась в России, что никогда не жила с родителями, как будто не так по бедности, как оттого, что Серафима Павловна хотела быть первой и единственной любовью Ремизова. Она и была его единственной, и

если Ремизов кого-то по-настоящему любил, то, конечно, ее. Огорчалась ли она или заболевала, будь то хоть насморком, Ремизов был потерян и убит. В квартире наступала трагическая окаменелость. Приходящие должны были говорить шопотом. Софиев рассказывал мне, что раз, чтобы повеселить простуженную и лежащую в постели Серафиму Павловну, Ремизов, в ожидании вызванного доктора, протянул веревочку поперек коридора, ведущего в спальню. Доктор споткнулся и полетел. Видя это через открытую дверь, больная залилась смехом, обрадовав Алексея Михайловича.

Много было детского в шутках, да и в драмах Ремизовых. Тот же Софиев, как-то зайдя, был встречен удрученным Алексеем Михайловичем: «Тише, тише, у нас большое огорчение». В кухне плакала Серафима Павловна. «Да что же случилось?» — спросил Софиев. Оказывается, не вышел номер билета в тираж нац. лотереи. Да и билета Ремизовы не покупали, просто в одном из купленных ими пакетов кофе была приложена премия — купон на 1/10 билета, в виде рекламы, как это тогда практиковалось.

Сколько лет было Ремизову в 32-м году? — Всего 55, но он казался древнее всех, и Бунина, и Зайцева. И при кажущейся беспомощности он лучше своих собратьев умел использовать знакомых, разжалобить своей беззащитностью, уверить всех, что в жизненных делах он ничего не смыслит — и в сущности ему помогали, до конца его жизни, больше, чем кому бы то ни было. А. М. возлагал ответственность за свое существование на других. Один бегал по его делам в префектуру, другой искал ему покровителей, а сколько верных женских душ преданно окружали и служили ему до конца, невзирая на его шуточки над ними, не всегда добродушные... Благодарность была как будто Ремизову в тягость, он был похож в этом на Леона Блуа, «неблагодарного нищего». Я рекомендовала его моей приятельнице, графине де Панж, урожденной княжне де Брой, сестре нобелевских лауреатов по нуклеарной физике. Полина де Панж была

женщина очень бережливая, но в не-денежной поддержке ни французской, ни иностранной интеллигенции никогда не отказывающая, и рекомендации ее значили много. С ее помощью Ремизов попал к Галлимару, и в Нувель Ревю Франсэз, но всегда мне жаловался, что она для него ничего не делает.

У Галлимара по крайней мере четыре человека — все имеющие вес в этом издательстве — заинтересовались оригинальностью Ремизова, причисленного ими, несколько произвольно, к сюрреалистам. Грейтхейзен, Жан Полан и Марсель Арлан, и Брис-Парен. Тут надо хоть двух из них обрисовать — как главных судей авторов этого издательства.

Жан Полан, окончивший Школу Восточных Языков (мальгашский), был Eminence Grise НРФ, куда он впервые вошел в 1920 году, впоследствии став ее редактором. В сущности, вершителем судеб этого блестящего журнала был творческий импотент, умный пустоцвет. Собственная его литературная продукция, чрезвычайно скромная, не имела влияния, — зато сам Полан, как личность, имел влияние огромное. Мистификатор, любитель «черной литературы» и парадокса — не идеи его привлекали, а замысловатость. В главной его книге — 164 страницы — Les fleurs de Tarbes, отражается довольно ярко его литературное кредо: «Если бы я был устрицей, то не выращивал бы свой жемчуг». Полан создавал и губил репутации, приговаривал к непечатанью все, что было ясно написано и приятно для чтения. Сам он все читал, все знал — но как бы мстя за свое собственное творческое бессилие, Полан кормил литературных и художественных снобов пищей, им навязываемой.

Совсем другим был Марсель Арлан, вторая голова двуглавой диктатуры, держащей в своей власти литераторов галлимаровской «конюшни». Вместе с Поланом, Арлан после войны вытащил из чистилища, стертую за грех оккупационного существования, НРФ. Арлан был упорной крестьянской жилы и маниакальной честности, и писал книги понятные, о

простых событиях и людях, но стилем, как отметил Пьер де Буадефр, «беспокойным».

Два этих разных человека и заинтересовались Ремизовым. Арлан, вероятно, человеческой драмой, чувствуемой им в ремизовском творчестве, а Полан — изгибами стиля и таинственностью ремизовского искусства. Первое знакомство Ремизова с НРФ состоялось в 30-х годах.

До войны 1940 г., кажется, только трое русских писателей эмигрантов были авторами Галлимара: Ремизов, Замятин и Вл. Сирин (который несомненно наиболее подходил этому издательству) и еще — после получения Нобелевской премии — Иван Бунин (который ему наименее подходил).

Кроме НРФ, и другие почетно передовые « nec plus ultra », журналы, как «Мезюр», Барбары и Генри Черча заинтересовались ремизовским «лица необщим выраженьем» — что делает им честь — но России-то не было! А Ремизовы оба служили русскому слову прежде всего. «Слово! — верую и исповедую, люблю и тружусь» писал Ремизов и в Розовом Блеске, «книге поминовенья» Серафимы Павловны; он называет себя ее учеником: «она выбрала себе церковно-славянскую высокую книжную речь... а я, под ее руководством, дьячью приказную, прослоенную разговорным просторечьем». Несмотря на то, что «коммерческого» успеха книги Ремизова не имели у французских читателей, Галлимар издавал их и после войны.

Не знаю, как расходились русские его книги — вряд ли были они ходким товаром и у читателей эмигрантов — но Вечера Ремизова собирали всегда очень много народа. Когда он читал, все становилось понятным и близким — не только гоголевские Вий и Страшная Месть, принимающие в чтении А. М. особый размер, но и повести и сказки самого Ремизова. Он, в сущности, писал вяканьем — разговорным, хоть и архаическим языком, с примесью, конечно, художественного модернизма. А дьявольщина, и не только она, но и человеческое грязцо — он уговаривал меня прочесть вдумчиво «Зимний день» Лескова — были

то, что Ремизов не хуже понимал, чем раны бедности и страданья.

Мои друзья и я ценили в Ремизове его талант, но как человек, он у нас восторга не вызывал. Нам казалось, что писатель, с такой силой писавший о доброте, об обиженных и оскорбленных, видел их только как абстракцию, что писал он о своей доле и о своих испытаниях и, всю любовь отдав С. П., а всю жалость обратив на себя, не оставил и крупинки той или другой для ближних.

И чем беззащитнее и преданнее был ему человек, тем больше А. М. над ним издевался — а тех, кто отказывался быть его жертвой, боялся и с ними считался. Так, кто-то из «известных», сказав ему строго: «И помните, чтобы я не появлялся в смешном виде в ваших снах!» никогда в них действительно не появлялся, чем, впрочем, и не вошел для потомства в ремизовский эпос.

Мы не могли не замечать как охотно, но и как ехидно, и зачастую со скатологическими подробностями, А. М. говорил о своих знаменитых современниках, и всегда с усмешечкой: «Вот идет Василий Васильевич (Розанов) в ватер-клозет, а мы за ним гуськом, а он нам о чем-нибудь половом говорит, дверь не закроет, заслушаться можно! Мы слушаем, а он там бумажкой шелестит, мнет ее».

Не могла не замечать и как иной раз угодливо говорит А. М. с каким-нибудь могущим ему пригодиться посетителем или посетительницей, и как, едва гость уйдет, такого о нем расскажет, что уши вянут! Я была очень дружна с Иваном Шкотт и мы часто приходили к Ремизовым вместе. Шкотт был глубоко несчастный и очень мужественный человек, и к Ремизову-писателю питал самое глубокое уважение, считал себя его учеником. Но, зная мою дружбу со Шкоттом, если я приходила одна, А. М. всегда сочинял про него какие-то фантастические гадости: «Бедный Иван Андреевич, глохнет, ведь? Да, бедняга, заболел венерической болезнью, захватил там, в Сибири, а вот теперь мучается!» А когда Шкотт покончил

с собою, Ремизов написал о нем проникновенный некролог. Прочтя его внимательно, все же видно, что и в чужой смерти, и в чужой бедности оплакивал Ремизов свою судьбу и ее тяжесть.

Вот эти-то особенности Ремизова как человека, не скрою, и отдалили меня от него. Я перестала его видеть, кажется, в 1936 г. Вернувшись в Париж в 1949 г. я тоже не пошла к нему. Но перед 80-летием Ремизова, в 1956 г., друг эмигрантских писателей, Софья Прегель, сказала мне, что он несчастен, ослеп и что хорошо было бы его утешить юбилейным и лучше французским чествованием, и что хорошо, в виду состояния его здоровья, дело это не откладывать.

Я зашла к Ремизову, он видимо, проектом Софьи Юльевны был очень обрадован. Несмотря на преданную заботу верных ему друзей — и помощь, ими оказываемую, — он, конечно, был очень жалок и одинок без Серафимы Павловны.

«Как живете, А. М.?» — «Плохо, вот читать не могу. Читают мне, может быть и вы почитаете?» Не помню, какую он дал мне книгу. Мое, конечно, далеко не художественное чтение несколько его раздражало, он справедливо меня поправлял и поругивал, потом жаловался: «Конечно, голодать не голодаю, а вот скучно кормят, хотелось бы чего повкуснее. Я вот семгу люблю». На следующий раз я принесла ему семги, съел, промолвив: «Вкусно, да так мало!»

Дело с устройством чествованья было нелегкое. Мало кто из французских писателей слышал о Ремизове, а те, что слышали, уже забыли его. Я отправилась к моему другу Анри Мембре, ген. секретарю французского Пен-Клуба, объяснила ему, что заслуги Ремизова перед литературой немалы, что он настоящий писатель и даже печатался в НРФ, и что расходы по приему будут покрыты его русскими поклонниками. На том и договорились. «Но кто будет его приветствовать от имени Пен-Клуба? Я не вижу никого» — заметил Мембре. — «Не беспокойтесь, я попрошу Марселя Арлана». Марсель Арлан, правда, без энтузиазма, согласился произнести приветственную

речь. Были уже заказаны и приглашения, когда я получила от А. М. письмо — он от юбилея отказывался.

⁂

Из моей записной книжки за 30-е годы выбираю, что записывала под горячую руку о Ремизовых:

Чай Ремизов разливал сам, и так, как будто свершал какой-то обряд. Был там Сувчинский, Мочульский, художник Сергей Шаршун, издававший вместо книг листовки «Накинув плащ». Это был рассвет и первый закат ЕА с авантюрой «Верст». Издавался еще «Ухват». — У Сувчинского были деньги, А. М. сажал его на почетное место. Раз Ремизов попросил меня достать у капитана 2-го ранга, бывшего командира «Алмаза» и моего свойственника грамоту, выданную предку его царем Алексеем Михайловичем, которую Чириков смог сохранить. Я ему достала и А. М. долго с ней возился, рассматривал не так даже содержание, как слова и выражения 17-го века и начертание букв.

Ремизов и особенно Серафима Павловна очень внимательно следили за отношениями их гостей между собою. Они их ссорили или мирили, намекали на возможность каких-то романтических отношений, чаще всего выдумывая их. Мне: «А вот вас Шаршун проводит кхе! кхе! Он у нас известный Дон Жуан». Шаршун что-то шепеляво и неразборчиво бормочет, отнекиваясь и от донжуанства, и от провожанья.

Раз я с Ремизовыми и с мужем пошла на какое-то очередное собрание, имевшее место на рю Данфер-Рошро. Лекция Д. Святополк-Мирского о культе смерти в русской литературе; позднее появилась его статья на эту тему, но уже без некоторых вводных фраз. Рядом с лектором, на подиуме, Сувчинский. Я мало знала Мирского, взгляд его казался мне издевающимся а голос « носатым» и он меня отпугивал чем-то. Говорил отменно умно, в одном месте подчеркнув «как сказал выдающийся русский писатель Кундышин». Вышли мы на улицу целой группой. Я при входе еще купила очередной номер недолговеч-

ного «Ухвата», в котором сотрудничали Ремизов, Дон Аминадо, Тэффи, Д. Кобяков и другие, и шла тихо, не смея открыть рта в присутствии таких светил. Мирский принимал похвалы. В. Н. Ильин вздымался и падал в метафизические дебри. Наконец кто-то в замешательстве спросил, с редким для него смущением: «Прости, Дима, я что-то не могу вспомнить, кто был Кундышин». Святополк-Мирский важно: «Совсем не был, я его выдумал».

Встречала я у Ремизова и интереснейшего философа, Петра Стремоухова. Из женщин помню барышень, по прозвищу, данному им Ремизовым, «Птицы», бескорыстно пекущихся о Ремизовых, которые видимо благодарности к ним не чувствовали. В их присутствии жаловались и плакались, когда их не было — издевались над ними очень ядовито. Я даже раз не выдержала и сказала: «Ну вот теперь я знаю, как вы говорите обо мне, когда меня нет». — «Ну что вы, что вы, вы совсем другое дело!» — успокаивал меня А. М.

Когда Ремизовы жили в Булони, дорога к ним шла вдоль Булонского леса, и всегда меня провожал кто-нибудь из приятелей. Но Ремизовы очень не любили, когда дружбы заводились не по их почину. Такую дружбу они старались расстроить и редко приглашали вместе людей, которым было бы приятно у них встретиться. Помнится, что в Булони из кабинета А. М. уже была изгнана всякая «чертовщина», так, немного осталось уже, но все, особенно впервые приходящие, по старой памяти таскали хозяевам какие-то дикие дары, фетиши, которые бесследно исчезали. В 30-х годах Ремизов увлекался рисунками, чрезвычайно интересно сделанными. Я помню «Толстого в аду», который был поистине ужасен, и иллюстрации к «Снам» Тургенева — охотник с ружьем, а вместо зайцев и дичи — голые ребятишки.

Страсть к мистификации была так сильна у А. М., что я все время была настороже, как бы не попасться впросак и не поверить провокационному рассказу. Такие вещи жестоко разглашались. Алексей Эйснер был

одним из редких людей, не попадавшихся на провокации А. М. и с твердостью избегал всякой утилизации. А так чужие люди перевозили книги, бегали за карт д'идентите, чинили мебель, мыли посуду, вывозили Ремизовых на балы писателей и на лекции, устраивали продажу книг и рисунков — кто во что горазд...

Если я ничего не привозила из Брюсселя, А. М. упрекал меня «а вот вы пряничка-то забыли привезти. Они у вас в Брюсселе вкусные, и папиросы дешевые». Все знают, что уже в Москве Ремизов одевался как-то особенно, подчеркивая свою убогость. И к графине де Панж он пошел, старательно приодевшись так, чтобы «кричала бедность», его вид графиню прямо поразил.

Три дня спустя после убийства Горгуловым президента Думерга, я была у Ремизовых. Алексей Михайлович рассказывал, как в этот день у него болели зубы и как, завязавшись, пошел он в зубную клинику, а когда шел обратно, все уже кричали на улицах, что русский убил президента. «Господи — думаю — что же это такое начнется. А вдруг догадаются, что я русский... и бить». В этот день говорилось о приезде Ремизовых в Бельгию, куда их пригласил погостить поэт и переводчик русских поэтов, Роберт Вивье, женатый на русской татарке Зените, сын которой от первого брака стал впоследствии известнейшим в мире вулкановедом — Гарун Тазиев.

«Зинаида Алексеевна, вы уж помогите, чтобы паспорт мне выдали. Я ведь по-французски не говорю — а они не понимают».

Был там и Эйснер и возвращалась я в этот вечер с ним. Он сердился: «Ну что вы ему верите! Ему паспорт скорее выдадут, чем нам с вами, и наверное он чудесно изъясняется по-французски. Это просто у него система: зачем самому работать, когда можно найти дураков». — «Спасибо». — «Не за что, я ведь о вас думаю».

Я думаю, что Ремизов был чрезвычайно умный человек, но вот этот изъян, не изжитое уязвление детства стали ему развлеченьем, его местью. Унижение

его было паче гордости, но знал, кого можно в открытую третировать, а кого — тайком. Кому и покадит, сейчас же уже выдумает, как его впоследствии и высмеять, и чем беззащитнее и преданнее был ему человек — а сколько таких вокруг него бывало — то над таким издевка была первым делом.

Пока я писала вот эти мои воспоминания о Ремизове, мне вдруг как-то открылось, что то, что делало его совершенно отличным от других русских писателей, с которыми мне пришлось встретиться — это, что Ремизов в сущности был единственным из них, который мог бы быть персонажем Достоевского, одним из униженных и оскорбленных, с его горделивым приниженьем и духовным изломом. В нем уживались подлинная трагедия и шутовство, жалость к человеку и издевка над ним. Он был человеком подполья.

— «Я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизере моего костюма и пошлости моей шмыгающей фигурки. Это была мука-мученическая, беспрерывное невыносимое унижение от мысли, переходившей в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха перед всем этим светом, гадкая, непотребная муха — всех умнее, всех развитее, всех благороднее, — это уж само сообю, — но беспрерывно всем уступающая муха, всеми униженная и всеми оскорбленная». (Записки из подполья).

Уступчивость же А. М. только видимая. «Что от меня зависит на земле — пишет Ремизов в «Мышкиной Дудочке». — Ничего. А стало быть, никакой власти. Моя воля со мной».

Думается, что найдется множество совпадений между словами героев Достоевского и словами-признаньями Ремизова.

Беру еще одно для примера: «А что ж? И в зубной боли есть наслажденье, — отвечу я. — У меня целый месяц болели зубы; я знаю что есть. Тут, конечно, не молча злятся, а стонут; но это стоны не откровенные, это стоны с ехидством, а в ехидстве-то и

вся штука. В этих-то стонах и выражается наслаждение страдающего; не ощущал бы он в них наслажденья — он бы и стонать не стал». (Записки из подполья).

А Ремизов в «М. Д.»: «А загнанный я чувствовал себя на месте, и это мое чувство пронизывалось болью. Я понял, что только загнанный я и живу и для меня стало «жить» и «боль» одно и то же. И когда не было боли, я как бы не жил на свете».

И вот так, перед всеми унижаясь и презирая тех, перед которыми он унижался, находил свою свободу Ремизов, в сущности самый загадочный из писателей, которых довелось мне увидеть. «Страданье — да ведь это единственная причина сознанья» утверждает Человек из Подполья; и дальше: «Сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастье, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения». Сила Ремизова была в сознаньи и приятии страдания.

ПИСЬМА А. М. И С. П. РЕМИЗОВЫХ

(Из Парижа в Бельг. Конго)

(на поч. 9/12
(на почт. штемпеле: 9/12-1926,

Дорогие Зинаида Алексеевна и Святослав Святославович, не потому, чтобы не ответить немедленно, а потому, что адрес написан — ничего не поймешь.

У меня от Вас теперь две марки (30 см. и 1 фр.) если есть в 20, налепите.

Переехали на другую квартиру, очень было трудно, да и теперь не легко.

Пишите! Серафима Павловна кланяется вам обоим.

А. Ремизов

———●———

26/4-32

Дорогая Зинаида Алексеевна

мне говорил Очередин, что Вы будете в Париже в начале мая. Хочу попросить Вас, привезите мои «картинки». В мае выставка чешских-рус. писателей в Праге и хотел бы кое-какие из тех, что у вас, послать на выставку. Жаль, что со Слонима не сделан фотограф. снимок.

А. Ремизов

21/10-32

Дорогая Зинаида Алексеевна

Спасибо: 25 фр. получил. Я был очень болен, и только теперь понемногу прихожу в себя, т. е. могу думать не только о своей боли.

C. de Pange мне ответила, я ходил по ее письму, но пока результата еще никакого нет. Написал и послал книги В. С. Нарышкиной [1]), это еще летом, но ответа никакого.

О вечере в «К.Р.Е.» [2]) боюсь сейчас говорить. И прежде всего надо знать их условия. Иначе как же и с чем сообразоваться. Спрашивал Осоргина: он получил 700 фр., т. е. 1/2 сбора. Забыл спросить: о дороге и гостиннице (для меня). (Для поездки надо возобновить паспорт и один я не могу ехать, только с Серафимой Павловной).

Узнайте и напишите мне.

А приехать могли бы в ноябре, только не 13-го.

Вечер лучше всего делать в субботу.

А. Ремизов

Кланяйтесь Святославу Святославовичу. Поклон от Серафимы Павловны.

Адрес Кнута: Monsieur Eberlin pour D. K. (Довид Миронович) 12, square du Port Royal, Paris 13e.

---

1) Дочь министра Витте.
2) Клуб Русских Евреев.

18/5-1933

Дорогая Зинаида Алексеевна

Надеются отходить [3]). (Лежит в госп. Кошан). Что была за ночь, еще не знаем. Не мытьем, так катаньем, но это наша общая участь. Нет денег. В этом все. Собираются большие деньги для несуществующих организаций — «жертва» для самоутешения, я в эту «помощь» не верю, только индивидуальная может действительно «поддержать». А для этого надо смотреть, слушать и слышать. Говорю это по опыту: что бы ни говорили, ничем не поможешь. Так и с Болдыревым. А ведь какие пропускаются деньги на благотворительность!

С Comtesse de Pange [4]) я познакомился. Она деятельная, только у нее очень мало возможностей. А Нарышкиной я прошлым летом написал и книгу ей отправил — и никакого ответа. Нет ли у Вас еще кого, куда сунуться?

Если поправится, надо ему отдохнуть. Ведь он, как не выспавшийся. Хотя бы ему к вам, в Бельгию, проехать. Все рассуждаю сам с собою: как человеку можно много помочь и дать силы самое тяжелое вынести. Но без денег ничего нельзя сделать.

А. Ремизов

Поклон от Серафимы Павловны.

---

[3]) Ивана Андреевича Шкотта (Болдырева), покончившего жизнь самоубийством.

[4]) Гр. де Панж, правнучка Мадам де Сталь, сестра Нобел. лауреатов по нукл. физике, герцога и князя де Брой.

29 Мая 1933 г.

Дорогая Зинаида Алексеевна, вчера похоронили Ивана Андреевича. Отпевал его о. Флоровский очень хорошо, так что терялось и то, что только 2 человека пело. Вчера начали и кончили его отпевание пением «Христос Воскресе», — и это напоминало, что смерти нет. Потом отвезли его на кладище Thiais, где и похоронили. Был ясный день и небо голубое. Народу было немного, в церкви человек 30 и на кладбище — 10, кладбище очень далеко. Но цветов было много. О письмах, оставшихся после него, я выясню через несколько дней (много путаницы из-за того, что никаких родственников и много формальностей), если будут Ваши письма, будут Вам возвращены. Я думаю подождать писать матери, сначала надо все выяснить, чтобы ее лишний раз не тревожить.

Вы писали, что приедете и придете к нам в воскресенье 11-го. Да, мы будем дома в этот день, но «Воскресенья» отменены уже с сентября по некоторым важным причинам, о которых на словах сказать надо, сейчас трудно писать. Вы у нас в воскресенье никого не встретите, но зато, если хотите именно к нам, то так и лучше.

Итак, до свиданья, будем дома в воскресенье 11-го (Троица) с 8 ч.

Всего доброго

С. Ремизова-Довгелло


Дорогая Зинаида Алексеевна,
я Васъ очень люблю.
28/IV 1950
И. Бунин



Б. Зайцев и К. Паустовский. 1963 г.



Алексей Михайлович Ремизов. 1958 г.

ТРУСИКЪ НЕ ТРУСИКЪ КУРГУЗЫЙ И ПЕСТРЫЙ СЪ ОБВИСЛЫМЪ ПУСТЫМЪ ВЪ
ДЫМЪ ХВОСТОМЪ СОВА НЕ СОВА ДНЕМЪ И НОЧЬЮ РАЗБИРАЕТЪ ДОРОГУ А ВЪ ЗОБЪ
СОБИРАЕТЪ ЧТО ВѢДЬМА ДОСТАНЕТЪ МАСЛО СЛИВКИ И МОЛОКО А СВѢДАЛА
ЕГО ВѢДЬМА ИЗЪ СОБАКИ ОЩЕНИЛАСЬ ШУМКА ВЗЯЛА ВѢДЬМА МѢСТО

ГДѢ ЩЕНЯТА ЛЕЖАЛИ ПЕРЕТАЩИЛА ВЪ ЗАДНІЙ УГОЛЪ ПОДЪ ПЕЧКУ ПОШЕП
ТАЛА А ЧЕРЕЗЪ СЕМЬ ДНЕЙ ОНЪ НА БѢЛЫЙ СВѢТЪ И ВЫШЕЛЪ
... КОЛО... СЫНА

К ОЛО ВЕРТЫШЪ

A REMIZOV EN SUIVANT LE SOLEIL PERSONNE...

BERLIN 1922

KOLOVEKTICHE LE SERVITEUR DE LA SORCIERE

КОЛОВЁРТЫШЪ А. РЕМИЗОВЪ ПОСОЛОНЬ



Владимир Диксон



Иван Болдырев. 1928 г.

Н. А. Тэффи в Пен-Клубе с С. С. Малевским-Малевичем.



Иван Бунин в Пен-Клубе 1936 г.



Слева направо сидят: Софья Прегель, Алла Головина, Леонид Зуров (тогда Председатель Союза Молодых Писателей и Поэтов), Лидия Червинская, Анна Присманова. Стоят: Емельянов, Б. Закович, Ю. Мандельштам, ? ? ? Вл. Смоленский, Юрий Фельзен, Г. Адамович, А. Штейгер, Е. Бакунина, Г. Раевский, Ю. Бек-Софиев, Ставровский.

6 Декабря 1939

Дорогая Зинаида Алексеевна, спасибо Вам за память, за присылку книжки [5]), которую я читала во время болезни (простудилась) очень было приятно. Да, 10 лет прошло со дня нашей первой встречи, когда Вы здесь были весной, а к нам не зашли, я подумала: вот и прервано, что то произошло и, должно быть, кто то темный прошел между нами, но книжка сказала, что то, что завязалось 10 лет назад, осталось. Когда приедете сюда? Мы бы хотели летом (если доживем) поехать в Бельгию на месяц, — говорят, там дешево. Что Вы думаете об этом? Ал. Мих. кланяется и благодарит. Привет от нас Свят. Свят.

Ваша Ремизова-Довгелло

21/6-1956

Дорогая Зинаида Алексеевна

я думаю следует отложить до будущего года мое французское «погребение заживо» [6]) — в этом году нет никакого основания — в будущем 1957 — мне исполнится — 80 лет (Ночь под Ивана Купала 24 июня 1877 года), и 55 лет моего литературного труда (8 сентября 1902 г.) и я надеюсь, выход у Галлимара моих Подстриженных Глаз (Les Yeux Tondus), а сейчас, если Вы разогнались, — сделайте вечер Б. К. Зайцеву, ему 75 лет от роду (в этом году) и 55 — литературной деятельности — или помяните Шмелева.

А главное, надо время чтобы все собрать, а сейчас и месяца не остается — что можно сделать за это время? В июле ничего сделать нельзя. — abgeschlossen.

Зайдите, жду в воскресение, чтобы Вам устно еще подтвердить мое слово-решение.

Алексей Ремизов

---

5) Моя книга « Une Enfance » вышедшая в Париже в 1939 г.

6) Прием в Пен-Клубе, уже подготовленный.

П р и л о ж е н и я

НАД МОГИЛОЙ БОЛДЫРЕВА-ШКОТТА

Когда гроб показался во дворе Монпарнасской церкви — медленно и важно, а этот двор мне, как тюремный в Таганке, я вспомнил — вот точно также Шкотт вошел к нам на Villa Flore, где мы жили в этом досчатом гробе, как тогда в его очень узком, но опрятном пиджаке, — «глядела бедность».

Последние дни Пасхи — «Христос воскресе», с которого начато и кончено отпевание, и за этим необычным — пасхальным — и при виде черным покрытого и бедными цветами, но цветами! гроба — не чувствовалось смерти. И только там, на дальнем, открытом. как среди пустого поля, Тиэ, когда в одну из узких, рядами заготовленных ям упали первые комья — твердый ком за комом, — земля о деревянную крышку гроба, — этот обратный звук вскрику человека, впервые увидевшего свет, — последний безответный из мира, я всем существом моим до дрожи ощутил глухой и непреклонный голос смерти, но и понял, что уж больше не надо «думать», по крайней мере весь кошмар веронадьной температуры кончен... а о снах в бестемпературном «смертном сне» я не подумал.

Жизнь Шкотта за эти шесть лет с нашей встречи — круг напряженнейших дум, суровый литературный путь, тяжелая физическая работа и тяжкий недуг.

«А ведь и самому упорному надо какую-то передышку! ну, просто выспаться, переменить место, — тогда и в самом тягчайшем недуге освеженные силы

дадут надежду!» Это я сам с собой — не могу помириться, чтобы взять так и кончить бесповоротно.

А какие они — крокморы! засыпали да не совсем — стоят над незасыпанной: «лопаты на три осталось, завтрашний день кончим!» И догадываться не надо: дал кто-то пять франков — смотрим; а уж все и готово. Дали еще — и уж крест воткнут, цветы кладут, «Такое их мэтье», — сказал кто-то. Ну, точно дети.

В памяти о человеке всегда остается, хотя бы и последняя мелочь, но что особенно тронет и станет незабвенным: это тогда, еще в первое знакомство на Пасху принес Шкотт маленькую ветку сирени, и веткой-то нельзя назвать, а так лапасток какой-то от ветки с белыми звездочками-цветами, ветку, из которой — и я вспомнил, как однажды в Петербурге, тоже на Пасху, прислали нам «добрые люди» корзину с ландышами — «прямо из Ниццы» — и стоила она шестьдесят рублей, как объяснил посланный, а потом уж в Париже я не раз видел такие корзины, — удивительные свежие ландыши! — но никогда я не видел и только однажды такую ветку, из которой «глядела бедность», и перед ее болью в вихре моих мыслей и глуби моих чувств осветился стол, комната, Villa Flore, Avenue Mozart — весь Париж. И теперь я все беспокоился о наших последних цветах: ведь крокмору — дело привычное — и не заметит, и не заметишь, сапогом смахнет! — венок от «Технической школы», где последние годы учился Шкотт, к кресту поставили и от креста дорожкой цветы тех, кто в последний раз вспомнил, и вижу, наши — желтые ромашки — память о его материнской родине России, и ландыши.

«В ваших странствиях, Иван Андреевич дорога привела вас на Villa Flore, в мой мир «по карнизам» и мир «слова», вы ступили на трудный путь «слова», но слово — «слово без денег, будь оно и самым раскаленным, оно бескровно, ничего!» и что я мог и что могу сделать для устройства литературных дел? — ничего. А моя работа — впрочем, разве я мог уди-

вить вас и самой беспощадной требовательностью? — вы такого крепкого корня: вам напролом и упор — наследственная стихия».

Родословие Шкотта — от «старого Шкотта» Джемса, Якова Яковлевича, память о котором долго хранилась на Москве: «распахать всю русскую землю усовершенствованными орудиями и научить русских детей английскому языку!», — вот с какой затеей приехал Шкотт в Россию сто лет назад. Сын его Александр был женат на тетке Лескова, и в судьбе Лескова семья Шкоттов имела решающее значение.

Имя Лескова Иван Андреевич слышал с детства, но близости никогда не чувствовал. Не Лесков, а Достоевский, и особенно «Необходимое объяснение» Ипполита из «Идиота» и Кириллов из «Бесов», вот куда обращены были глаза Шкотта.

Умный, а это большая редкость, начитанный, и это не часто, не пустой человек и не легкий — ответственный, и без этой «шутливой беззаботности», хорошо читал и хорошо смеялся... и большой искусник — делал тонкие миниатюры на слоновой кости и решал головоломные задачи, он добился бы своего и стал бы в литературной работе мастер.

Весной 1927 года перед своей поездкой в Нормандию на работу в Коломбеле в первую нашу встречу Шкотт принес сказку в стиле Леонида Андреева беспредметную, где действуют Электрон, Океан и Голоса. Но в разговоре выяснилось, что у него есть русская память — повесть «Мальчики и девочки», погребена в «Современных Записках», а, кроме русской памяти, есть и наблюдения над «живой жизнью» русских в Париже, — ряд рассказов: «Пирожки Ивана Степаныча». С этих «пирожков» и началось его литераторство под фамилией Болдырев.

На металлургическом заводе, где работа была очень деликатная, — «постоянно на сквозняке или иногда приходится под дождем все восемь часов, а после работы в комнате-казарме на четырнадцать человек, Шкотт «настойчиво и упорно» писал «Цветную сумятицу» — его третья тема: «сон и безумие».

«Мальчики и девочки» вышли в 1929 г. отдельной книгой в издательстве «Новые писатели» — «Москва».

Но ни «сын», ни «пирожки» не вышли и продолжения не появлялось, — впрочем, где и появиться? А тут еще «требовательность к себе» и «ответственность» — наварзать-то легко и даже очень, Шкотт очень хорошо понимал всю смехотворность и всю жалость звания «искусственного» писателя или славу «киноматографического» мотылька.

С кладбища нас вез товарищ Шкотта дальними путями, но дорога не показалась утомительной: говорили о Шкотте и его судьбе — невеселое решали — и какой это холод и черствость — круг человеческой доли — на глазах погиб человек! — и со словами руки у меня горели. На набережной недалеко от Сен-Мишель автомобиль приостановился — затор — я заглянул в окно: седые, еще седее показались мне камни Нотр-Дам! — и вдруг на узком тротуаре среди локтями пробивающих себе дорогу... и я узнал ее — «глядела бедность» — это моя — неразлучная сестра со всей ее болью, гневом и моим несмирным смирением.

Алексей Ремизов

О ДИКСОНЕ

«Диксон был религиозный — верующий и сознающий всю ответственность своей веры... Я понимаю, в медленном искусном письме, а Диксон писал твердо и крупно, и украшая заставками и концовками, слово проникает больше, чем в мысли. Он переписал евангелие от Иоанна и несколько псалмов. Под пасху, в Рождество и на праздники мы втроем бывали вместе в церкви».

Алексей Ремизов 1. 11. 1930

(Предисловие к посмертной книге Диксона «Стихи и Проза»).

Владимир Диксон родился в Нижегородской губернии в 1900 г. Его отец был американец, приехавший в Россию в 1895, мать — русская, Людмила Биджевская. В. Диксон успел окончить Подольское Реальное училище в июне 1917 года и с родителями поехал в США, сперва учился в Massachussets Institut of Technology, затем в Харварде получил степень магистра.

В 1923 году поступил на завод Зингера во Франции. Умер в американском госпитале Нейи в 1929 г. от эмболии.

В последних стихах своих, написанных за 10 дней до смерти, он писал:

Если сегодня в последний раз
Вижу солнце и звезды и сына
И не обрадует жадных глаз
Родной земли скупая равнина.
. . . .

Что на дорогу могу сказать?
. . . .

Прошу прощенья у оскорбленных
У всех обиженных, раненых мной
Прошу прощенья у далей зеленых
У далей снежных земли родной.



РУССКИЙ МОНПАРНАС

РУССКИЙ Монпарнас в 1925 г. только зачинался — и именно в этом году познакомилась я наконец с поэтом, который совершенно отвечал моему представлению о поэтах. Это было на Морском балу. Кто-то из гардемаринов, меня на него пригласивших, представил мне красивого, с тонкими чертами, черноволосого молодого человека: «Владимир Смоленский». Смоленскому было тогда 25 лет и задумчивое и бледное его лицо, тембр голоса, весь его романтический облик меня восхитил. Мы начали танцевать. Владимир говорил со мною несколько снисходительно, как старший с младшей, улыбаясь разочарованной своей улыбкой, и вероятно на этом балу и кончилось бы наше знакомство, если бы случайно не процитировал он несколько строф из блоковской «Незнакомки», которые я за него окончила. Он удивленно взглянул на меня: «Как, вы знаете Блока? Мы вероятно с вами единственные на этом балу, которые верны поэзии».

Володя стал часто заглядывать на мою мансарду, в общежитие, круглое окно которого выходило в монастырский сад, и нечто вроде «амитие амурез» зародилось между нами. Русская молодежь того времени к половой свободе относилась по-старинке и наша дружба в роман на перешла. Но на память об этих днях дала я Смоленскому серебряный перстень с кораллами, подаренный мне Мариной Цветаевой, которым я дорожила, и хотя впоследствии мы встречались не часто, дружба наша сохранилась до его смерти. А цветаевский перстень, когда я уже была замужем, а Смоленский стал женихом первой своей жены, его семнадцатилетняя невеста, не зная его про-

исхождения, сорвала с его пальца и бросила в траву Люксембургского сада, где он и потерялся навеки. Если этот перстень был талисманом, то только зловещим — если вспомнить о судьбе Марины Цветаевой и о тяжких страданиях, выпавших на долю Смоленского.

Несколько лет спустя, в начале тридцатых годов вероятно, несмотря на то, что я жила в Брюсселе, я стала членом парижского Союза молодых писателей и поэтов и как-то причислилась, не безоговорочно, к тому, что обозначается «Парижской школой». Следует признаться, что несмотря на то, что мои стихи, особенно первые, носят отпечаток «парижской ноты», я никогда целиком эту ноту не приняла и была в поэтической жизни молодого Парижа скорее наблюдателем, чем участником ее мистерий.

Иногда собирались мы в задней зале плохенького кафе около Одеона, отравленной запахом, идущим от клозета, находящегося рядом, в ту пору устроенного на турецкий манер. Почти все собиравшиеся были молоды, усталы, плохо одеты и плохо кормлены. Те, кто постарше, успели активно участвовать в гражданской войне, те, кто помоложе — были свидетелями и жертвами ее жестокости. Груз прошлого и груз бесправного нищенского настоящего давил эмигрантскую лиру. И, в сущности, кроме молодости за нами не стояло ничего.

Собирались мы позднее и в помещении не менее бедном, но гораздо более живописном, в кафе «Ля Болле», в тупике Ласточки, около бульвара Сен-Мишель. Грязное и тусклое кафе было уже освящено традицией. Со средневековья буйные школяры и клерки латинского квартала, воры, а, может, и сам Франсуа Виллон, хаживали по этому тупику. Да и в наше время темные личности и девки все еще облокачивались на прилавок «Ля Болле».

Через неказистого цвета дверь мы входили опять-таки в заднюю комнату, где, как напоминала нам надпись, бывали до нас Верлен и Оскар Уайльд. Комната быстро окутывалась дымом папирос. Сидя на неудоб-

ных скамьях, по очереди читали русские поэты и писатели свои произведения, повергая их и себя на суд своих пэров. Благожелательность в критике считалась слабостью, и только когда очередная жертва, особенно из новичков, была слишком раздавлена, кое-кто поднимался на ее защиту — чаще всего, как мне помнится, Юрий Софиев или Смоленский. Бывалые же защищались и сами. И пока разливалась прозой, стихом или спором русская речь — внизу, в подвале «Ля Болле» живописно инсценировалась атмосфера романов Франциса Карко [1]). Французские фальшивые апаши (к тому времени подлинные уже перевелись), в кепках и в нашейных платках, плясали со своими «момами», вызывая опасливое любопытство французских буржуа и туристов. На маленьком подмостке гармошкой разливалась «Жава», пелись песни парижских улиц и тряслись и плыли плечом к плечу клиенты и фигуранты этих особых парижских ночей.

Иногда артистично, по тому же Карко, завязывались и ссоры, мелькал нож в руке «апаша», неслась площадная ругань, к вящему удовольствию, смешанному со страхом, посетителей в смокингах и длинных платьях, пожелавших опуститься на «парижское дно». Но ссоры никогда не кончались трагически, ножи были бутафорией — вызов полиции никого не устраивал.

Это были, собственно говоря, еще времена героические. В тридцатых годах «Ля Болле» уже отжило. И встречи происходили на Монпарнасе, уже тоже медленно отходившем в прошлое, уступая место Сен-Жермэн де Пре и «Флоре».

Ночные монпарнасские русские сиденья чаще всего происходили в «Селекте» или «Наполи». Мне редко приходилось бывать на литературных вечерах, устраиваемых Союзом. Я приезжала в Париж когда придется и иногда даже не успевала сообщить моим друзьям о приезде. Почти всегда все же, зайдя на Монпарнас, я знала, что встречу кого-нибудь в одном из указанных кафе. Ведь все были в те времена бездомными, юти-

[1]) Французский писатель 1866-1959, член Академии Гонкур.

лись где-то, куда и позвать никого нельзя было. Кафе было клубом, спасением от одиночества.

Вот двое сидят в «Селекте» и входит третий, затем четвертый, за ним следующие, с одного столика мы распространяемся на другие, под ленивым и нерадостным взором ко всему привыкшего гарсона. Настроение меланхолическое, все безденежные, но те франки, которые имеются, делятся. Если не хватает на вино или алкоголь, то хватает все же на кофе, можно часами сидеть и говорить, говорить, говорить то о важном, то о неважном, кого-то поддеть, вызвав улыбку — громкий, полнокровный смех не подошел бы к атмосфере. Кто уходит, кто остается до рассвета, так как ночью метро не ходит и пришлось бы брести пешком в разные кварталы Парижа. Говорится об искусстве, о литературных стилях, о Прусте (в эти годы — кто о Прусте не говорит?), о последнем воскресеньи у Мережковских, кто как к кому относится, о бл. Августине и о любовнике «Леди Чатерлей» Лауренса, о Бердяеве, о самом дешевом способе издать книжечку стихов, и опять, кто как к кому относится. Тут же, на Монпарнасе, завязывались и развязывались романы, происходили ссоры и примирения.

Нельзя забыть и благодетельное присутствие на этих монпарнасских сиденьях нескольких материально обеспеченных молодых еврейских женщин, верных попечительниц эмигрантской литературы. Они устраивали балы и вечера, распространяли и покупали билеты, собирали деньги на издания сборников стихов, утешали и подкармливали, иногда и вдохновляли... Об Израиле тогда и разговора не было, была только Россия — и Париж, конечно, как тюлевый занавес над ней.

Годами встречаясь с монпарнасцами, я все же среди них была только «гость случайный», и не потому что жила в Брюсселе (в Париж наезжала часто), но потому что с юности чуждалась всяких групп и кланов, будь они связаны со средой, этнией, идеологией или религией, а также и потому, что то, что называлось духом Монпарнаса было мне чуждо. Несмотря

на разноликость и разношерстность Монпарнаса, было в нем все же некое единство, скажем, настроения. Тень «Бродячей Собаки», петербургской эстетики предреволюционных лет была в нем ощутима. Этот Петербург-Петроград накануне своего умирания казался мне очень искусственным насаждением на почве монпарнасских кафе. Кроме «властителей дум» молодого поколения, Георгия Адамовича и Георгия Иванова (их влияние распространялось и на Прибалтику — но не Прагу и не на Варшаву), в сущности, петербуржцев среди них не было, больше было уроженцев юго-западного края, и ностальгия их по столице русской империи казалась мне неудачным шаржем, тоже чем-то искусственным и неоправданным. Хоть я и успела провести в Петербурге-Петрограде несколько зим, все же была во мне больше крепкая, черноземная, деревенская жилка и к декадентству я призванья не чувствовала. Жизнерадостность и твердое намерение противостоять превратностям судьбы были очень в такой среде не модны и я, вероятно, казалась многим собратьям отсталой деревенщиной.

Сидя на Монпарнасе, случалось, напоминала я окружающим, что «декадентский Петроград» был интересным феноменом в то время, когда русские писатели и поэты жили в своей стране, имели достаточно денег, чтобы не работать чернорабочими и, как пифии, предчувствовали наступающий развал империи. Мы же были пролетариями самого низшего разряда, без страны и без прав. Мы не могли позволить себе быть декадентами. Если мы хотим выжить и что-то сделать за нашу жизнь или из нашей жизни — мы должны бороться, только работа и упорство могут нас спасти.

Петербург-Петроград русского Монпарнаса был чем-то похож на «В Москву! В Москву!» чеховских сестер.

Может быть и был Монпарнас для многих спасением от одиночества — но, несомненно, был в нем и тлетворный дух, слабых соблазняющий.

Почти на глазах моих, от приезда до приезда,

могла я видеть, как затягивались в безнадежный его омут новоприезжие. Розовощекая девушка с жизнерадостными глазами медленно превращалась в худую, бледную истеричку, и самый простой, беспроблемный и бесталанный графоман выворачивался наизнанку, чтобы показать свое декадентство.

На других же, как, например, на Анатолия Алферова, душок не действовал; наконец, третьи благоразумно от него избавлялись — и кстати выпадали из литературы — тоже ведь дело неверное, хотя и с «душком» совсем не обязательно связанное.

Добровольное заключение себя в какое-то гетто казалось мне преступлением. Мы были в Париже, центре западной Европы, в новом окружении. среди кипенья новых идей, но вместо того, чтобы во все это включиться — хотя бы для того, чтобы и свою лепту внести для ознакомления Запада с русским миром — мы жили на исчезнувшем материке.

Мысль о том, что Россия, в то время уже, как и теперь, переживает тяжелые испытания, что русских на Западе страшатся или презирают, вызывало и меня на верность ей, но все же помнила я, что у каждого из нас своя жизнь и свои перед миром обязанности. Я как раз начинала тогда мою иностранную писательскую и журналистическую деятельность — и как-то случилось, что в сущности не подойдя «Парижской ноте», Парижу я подошла.

Может быть, не вся ответственность за безнадежность, царившую на Монпарнасе, падает на Адамовича. Человек чрезвычайно умный и тонкий, он и сам был не рад — в старости мне об этом говорил — своему могущественному влиянию. Он не рядился в вожди эмигрантского декадентства. У Адамовича было много других интересов — и слушать бесконечные объяснения и «выяснения отношений» интроспективной молодежи было ему скучновато, как скучновато было без конца повторять подробности интеллектуальной жизни Петербурга-Петрограда. По-человечески — обожанье и уваженье ему льстили, но так же почеловечески ему и надоедали.

Еще другое сделало меня подозрительной для Монпарнаса. Мнение и приговор критика Адамовича, как и Георгия Иванова, принимались им безоговорочно. Адамович — как он впоследствии жалел об этом! — с совершенной слепотой в то время «преследовал» Марину Цветаеву и Владимира Сирина-Набокова, которых я считала и в молодости первыми среди поэтов и писателей зарубежья.

Такое свободомыслие мне не прощалось. Благодушнее всех отнесся повидимому к моей ереси сам Адамович, написав в очень краткой заметке об одном из моих сборников стихов, что я обладаю «находчивостью и хорошим вкусом».

Но, конечно, при некоторой «глобальности» и некоем общем тоне, там царствующем, Монпарнас состоял из очень разных людей и потому среди них все же нашлись у меня друзья, которых я естественно знала лучше. О других же что, в сущности, я могу написать? Так, беглые впечатления.

Сорок лет прошло со времени Монпарнаса — и не так легко мне восстановить в памяти, под наслоением событий и новых встреч, многих из его сидельцев. Но когда случайно попадаю я в этот квартал, невольно бросаю взгляд на стекла «Селекта». Мне видятся, рядом сидящие, до бесцветности блондин Юрий Фельзен, громко никогда не говорящий, прозаик, пишущий «под Пруста» (но без черного юмора Пруста и его жестокости), длинными, сложными фразами о сложных человеческих отношениях и черноволосый поэт, Юрий Мандельштам, женатый на дочери Игоря Стравинского, о Монпарнасе написавший:

«Папиросный дым в кафе
Лица, души, люди, стены...»

и оба они, да и никто из других не предчувствовал, что им, людям литературы, а не действия, уготовлена черным ветром истории анонимная смерть в нацистском лагере.

Тут же вижу и худого, слегка горбящегося Антонина Ладинского, служащего в «Последних Новостях» не то рассыльным, не то телефонистом. Поэт он своеобразный, и ритм, и образы его оригинальны.

Он был тихий, грустный человек, предчувствующий развал Европы.

«На светлом лице Европы
Улыбка, печальная тень.
Летит загнанная антилопа,
Спасается в чащах олень.

Прекрасной белой рукою
Европа держит с трудом
Копье, коней и Трою —
Свой тысячелетний дом.

. . . .

Европа средь птичьего гама
Прекрасен твой черный закат
Так только высокие храмы
Средь бурь на ветру горят»

Антонин Ладинский после войны вернулся в Россию, где и умер. Да и что было ему делать на Западе? Но не знаю, писал ли он в России стихи.

Добрый приятель мой, Юрий Софиев, всю жизнь зарабатывал тем, что мыл стекла больших магазинов. «Ведь скучно, Юрий?» — спросила я его. — «Нет, знаете, ничего, стою на лестнице и читаю вслух стихи, то Тютчева, то Лермонтова». Женолюб и романтик, воспевающий дружбу и военное товарищество, которое участники бранных встреч не забывали (у нас это называлось «говорить опершись на лафет»).

«Мой друг, ты помнишь было время
Мы были молоды с тобой,
И под упругою ногой
Небрежное скользило стремя.

. . . .

Уверенно гремели пушки
По Малороссии твоей
И чернобровые хохлушки
Поили наших лошадей.

Теперь от этих трудных дней
И от всего того что было,
От мертвых и живых друзей,
Освободиться мы не в силах...»

Юрий был женат на поэтессе Ирине Кнорринг. Жили они в маленьком отеле, с сыном. Ирина болела —

«Я никогда, должно быть, не смеялась,
Со мной всегда и всюду на земле —
Замызганное платье и усталость,
Немытая посуда на столе.

Я никогда не понимала страсти,
Благих чудес на свете не ждала
И самого безрадостного счастья
Я никому с собой не принесла».

На Монпарнасе Ирина Кнорринг, понятно, не бывала, жизни в ней оставалось мало. Она умерла во время войны. А Юрий, отчасти потому, что в Париже терять ему было нечего, а отчасти из-за очередного увлечения очень молодой девушкой, которую мать увозила в Союз, вернулся на родину. Перед его отъездом мы встретились, в последний раз, у Буниных. Я его не отговаривала. Пока он в Германии, в лагере возвращенцев, ждал отправки в СССР, в другом ла-

гере, в той же Германии, его брат, «откатившийся» из Союза, ждал разрешения остаться на Западе.

Бывал на Монпарнасе, но держался несколько особняком, и умный писатель осетин Гайто Газданов, человек не по-кавказски сдержанный, по тогдашней профессии шофер. Мне кажется, он первый написал по-русски роман с французскими персонажами, «Вечер у Клер».

Появлялась и чудесная пара: поэты Анна Присманова и Александр Гингер, люди сложные. Обликом походили они несколько на химер, но по своему духовному облику существа были серафические, вечно ищущие (Гингер умер буддистом). Поэты тоже сложные и не без косноязычия. Друг друга они называли торжественно по имени и отчеству.

«Не забывайте перстень Поликрата:
Ведь незабвенная моя душа
Вконец раздета, брошена двукрато,
А вот вернулась, тяжело дыша...»

писал Александр Гингер.
А Анна Присманова признавалась

«Ах, не легко домину бытия
Построить на лесах стихотворений
И полное, лишь в сказке, знаю я
Ждет замарашку удовлетворенье...»

В 1957 году, вернувшись с мужем из Москвы, я привезла с собою стихи Пастернака (из «Доктора Живаго») и через Померанцева Гингеры попросили меня к ним прийти и их прочитать. Это было мое последнее свидание с Гингер и Присмановой.

К «природным» парижанам присоединялись понемногу и новоприбывшие: из Белграда — Илья Голенищев-Кутузов (впоследствии вернувшийся в Россию); из Прибалтики — всем понравившийся простотой и естественностью, да и энергией, Борис Вильде (Дикой). Вильде бывал на Монпарнасе, но без промед-

ления вошел и во французский мир — через серьезные университетские занятия; из Берлина — серьезные литературоведы [2]), среди них Михаил Горлин и Раиса Блок. Судьбы этих трех последних были поразному, но одинаково трагичны. Борис Вильде, вместе с Левицким ставший во главе одной из групп Резистанса, был немцами расстрелян, Горлин и Раиса Блок разделили участь Фельзена и Мандельштама — погибли в лагерях, если можно так сказать, безвинно. И может быть, легче было умирать Вильде, сознательно шедшему на опасность, на подвиг.

Кое-кто, особенно из женщин, мечтал о «роскошной» жизни, но не многие. Случалось, мечты эти отображались довольно наивно. Так, одна писательница заставила свою героиню «задумчиво жевать устрицы», в последнем варианте все же исправив и научив ее их глотать, пусть и задумчиво.

Маленький, худенький, смуглокожий Довид Кнут жил нелегко. Сперва был рассыльным в каком-то предприятии, затем открыл свое дело, которое твердой рукой вела первая его жена, Сарра. Он первый воспел «особенный еврейско-русский воздух — блажен кто им когда-либо дышал». Но провозглашая себя иудеем «Я, Довид Ари бен Меир!», тоже чувствовал ностальгию по Петрограду и после библейских тем обращался к типичному для русского Монпарнаса тону

«Отойди от меня, человек. Не пытайся помочь
надо мною густеет бесплодная тяжкая ночь...»

Сам же Довид был живой, приятный собеседник, не лишенный чувства юмора. У меня с ним были хо-

[2]) О берлинцах нахожу в письме Бориса О. ко мне в 1933 году: «Часть места в кафе занимает выводок «берлинских поэтов», главная достопримечательность которых — собственные автомобили, на которых они порой возят поэтов парижских, но парижские все никак не считают их парижанами и говорят: «вы» и «мы». Да и то: у берлинцев свои, семейные, провинциальные замашки...

рошие отношения. Помню, раз как-то, часа в два ночи вышли мы последними из «Наполи», Кнут подвыпил — голова была, впрочем, свежей, а вот ноги ослабели. Идти же ему к себе было далеко. Он пошарил в своих карманах, я в своей сумке. На такси нашлось достаточно. Прислонивши Кнута к дереву, я махнула рукой проезжавшему таксисту. Он оказался русским. «Вот поэта надо отвезти домой, возьметесь? Это Довид Кнут». — «Ну как же, как же, я его слышал на вечерах, хороший поэт! Не беспокойтесь, доставлю, если надо, то и до квартиры доведу».

Случай этот я припомнила Кнуту, когда он что-то бормотал о том, что революция лишила его всероссийской славы: «Право, Довид, кому-кому, а вам жаловаться не приходится. Сидели бы в своем Кишиневе и торговали бы мамалыгой, а очутились в Париже, мировом городе, где слава ваша достигла и до парижских шоферов». Он нисколько не обиделся.

***

Периодическими были и мои встречи с самым талантливым — даже с несомненными признаками гениальности — монпарнасцем, Борисом Поплавским. Думается, что несмотря на врожденные данные к самоуничтожению, дух Монпарнаса сыграл все же в его судьбе значительную роль. Не нашлось там человека, который мог бы его спасти. И много нарочитого было в его поведении. Редко с ним встречаясь, я каждый раз видела его в новой роли. Когда познакомились, он решил проводить меня куда-то и сразу же, вглядываясь через стекла черных очков, заявил: «А знаете, мне приятно идти с Шаховской! Мы из купцов, так вот как-то лестно. И под ручку взять вас можно». В одной из книг, ему Алферовым одолженной и которую Алферов мне передал, я нашла забытую среди страниц записку Поплавского к какой-то девице: «Приходи, надо увидеться, у меня раздвоенье личности». Я посомневалась, чтобы люди с двоящейся личностью отдавали себе в этом отчет. А в следую-

щий мой приезд Поплавский выступал в роли спортивного молодца, бодро говорящего мне о боксе: «попробуйте мои бицепсы», и о том, как не так давно, гуляя рано утром по берегу Сены, он увидел бросившегося в воду самоубийцу и спас его: «такая злоба была во мне к этому дураку, что мне хотелось кулаком его ударить».

Но в этом же году писал:

«Европа, Европа, сады твои полны народу
Читает газету Офелия в белом такси
А Гамлет в трамвае мечтает уйти на свободу
Упав под колеса с улыбкою смертной тоски...»

Было ли это просто плохой привычкой или патологией, но отношения с Поплавским даже его друзей усложнялись его неудержимой приверженностью к лжи. Все было в нем гримом, и различить его подлинные черты под этим гримом не удавалось. Талант его рос из хаоса. Мировоззренья у него не было и быть не могло, были настроения — но дух поэзии дышит, где хочет, и из хаоса ракетой взлетали чудесные и ни на чьи не похожие строфы.

Даровой бунт или бесцельное безобразие прорывались у Поплавского частенько. Недаром он назвал своего героя, своего альтер эго, Аполлон Безобразов, очень метко объединив красоту и уродство в этом имени.

Мне помнится один из балов, устроенный в пользу Объединения молодых писателей и поэтов в залах Русской Консерватории на тогдашней набережной Токио, теперь — набережной Соединенных Штатов. Народу было много, сбор обещал быть хорошим, добрые дамы-попечительницы потрудились над буфетом. Много было натанцовано и много выпито. Не один Поплавский был пьян, чего греха таить. А почетным гостем на этом вечере был киноактер Инкижимов, прославившийся фильмом «Буря над Азией».

Под утро залы опустели. А в заднем зале, в приятном для него уединении со своей дамой, сидел Инки-

жимов. Вот туда забрел случайно Поплавский и пригласил даму на танец. Дама вежливо приглашение это отклонила. Поплавский настаивал. Наконец, Инкижимов заметил: «Да молодой человек, вы же видите, что дама танцевать не хочет?» На что Поплавский, размахнувшись, ударил по лицу почетного гостя. И сразу протрезвев, вернулся в большой зал, где находились главным образом члены Союза, где и рассказал о случившемся. Всей группой начали обсуждать событие. Дело мое было маленькое, я ведь была приезжая, но все-таки позволила себе заметить, что поскольку свидетелей происшествия не было, что Инкижимов даже не покинул Консерваторию, то лучше всего сделать вид, что ничего не случилось. Георгий Иванов, как признанный авторитет столичных приличий, с этим не согласился и решил, что все члены Союза, мужчины и женщины, должны отправиться сразу же к Инкижимову и принести ему публичное, коллективное извинение. Группа двинулась в соседний зал, куда я не пошла. Через несколько минут оттуда вышла вся литературная братия, страшно возбужденная и возмущенная. Инкижимов же спешно уводил к выходу свою даму. Не помню кто, громко сказал: «Бить его надо!» Оказалось, что Инкижимов, сидящий со своей дамой на том же месте и продолжавший с ней нежный разговор, услышав коллективное извинение «Мы чрезвычайно сожалеем о том, что вас оскорбили действием» встал и по-русски выругался.

Так жили поэты, читатель и друг
Ты думаешь может быть хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг
Твоей обывательской лужи?

Конечно, не только заграницей, но и в самой СССР и обыватели и поэты пытались вылезти из лужи или болота с помощью зеленого змия — но блоковское соблазнительное высокомерие в стихотворении «Поэты» напрасно делает из смерти под забором условие поэтического ремесла и творческой жизни. Не знаю,

необходимо ли беспутство для гения или талант, по Бальзаку, — «долгое терпенье». Можно ли было что-нибудь сделать для спасения Поплавского, вырвав его из нищеты или поместив в другое окруженье — тоже не знаю. Без внутреннего усилия самого человека, вряд ли это было возможно. Так и метался Поплавский от богоискательства к кощунству, от поисков чистоты к распутству, идя к своей гибели — но в небрежных, кое-как написанных стихах и страницах всюду полыхает ослепительными зарницами подлинная, вечно живая поэзия

«Долго Ангел медлил умирая
А над ним горела роза рая...»



Как я уже писала, Владимира Смоленского я знала раньше Монпарнаса. Он часто бывал там после скучной бухгалтерской работы, которая обеспечивала жизнь ему и его семье. Пил много, заглушая свою тоску, раздираемый ненавистью к коммунизму, разрушившему страстно любимую им Россию

«Проклинаю вас и вашу власть,
С Богом — против Бога, — проклинаю
Вашу радость, вашу боль и страсть,
Ваш беззвездный путь к земному раю».

заявляя свое единство с народом

«И сливается голос мой
С голосами глухими народа
Над его огромной тюрьмой
Над тесной моей свободой»

и жалость к жертвам

«Они живут — нет, умирают — там,
Где льды и льды, и мгла плывет над льдами...»

Романтическая его внешность, прекрасный голос, чистая его лирика сделали Смоленского любимцем публики, посещающей вечера поэзии. Его лирику ценил и Ходасевич, совсем не «монпарнасец», человек трудный и взыскательный.

Утверждаю, Смоленский был человек глубоко порядочный — ни в каких литературных склоках не замешанный — и благородный. Утверждаю я это потому, что во время Второй мировой войны Владимир Алексеевич хоть и чувствовал большую ненависть к коммунизму, чем к тем, кто с ним боролся (за что и подвергся, когда война закончилась, остракизму непримиримых, обвинивших его в «германофильстве»), с немцами не сотрудничал, никого никогда не выдал, продолжал жить в бедности. Его право было думать иначе, чем я. Плоха наша любовь к свободе, если инакомыслящие нам враги.

Умирал Смоленский долго и мучительно от рака горла, в смиреньи и раскаянии. После операции, несколько продлившей его жизнь, он не мог говорить

«Перерезали горло,
Бьют в несчастное сердце
. . . .
Дай мне, Господи, силы
. . . .
Чтобы ясно и просто сказать
У преддверья могилы
Что бессмертье и радость
У любви никому не отнять».

До последнего вздоха Смоленского любовь у него отнята не была. Вторая жена его, Таиссия, несла подвиг любви и веры.

«Я любил на земле свободу
Одиночество и стихи»

написал перед смертью Смоленский и закончил это стихотворение так:

«Вот великая Бога щедрость
На любовь он мне дал в ответ
— и в награду — такую бедность
Богаче которой нет».

⁂

В своей книге, посвященной своим и моим современникам, «Незамеченное поколение», в четвертой главе Владимир Варшавский обрисовал тот вакуум, в котором оно находилось. Думается, что в этом была и доля вины старшего поколения, его равнодушие к младшему.

Георгий Адамович и Георгий Иванов — без присутствия которых, пожалуй, Монпарнаса бы не было или он был бы другим — и сами были не благополучные люди (особенно Иванов) и морально помочь своим поклонникам не могли; влияли на дух и литературный стиль Монпарнаса, но выход предложить было не в их силах.

Старшие писатели особого интереса к новому поколению не проявляли — за исключением Ходасевича, хоть и бывавшего на Монпарнасе, но стоявшего к «Парижской ноте» в оппозиции.

Впрочем, другое отношение было у Мережковских, у которых каждое воскресенье собирались монпарнасцы. На одном из этих воскресений была и я, приведенная А. Алферовым. Почему только на одном? Да потому, что мне ни хозяева, ни атмосфера не понравились. Маленький, худенький Мережковский — прозрачные глаза, фальцет — с его вечными тезами и антитезами, частенько прерывался Зинаидой Гиппиус. Она была тут главной жрицей. С уже не поживому рыжими волосами, с уже бывшими зелеными глазами — лорнет — она высокомерно ощупывала, рассматривала, расценивала своих посетителей, даже не без брезгливости. Умна она была — это замечалось сразу — до чрезвычайности, и ядовита, за что и была прозвана Ге-пе-ус. Ее меткие определения личностей запоминались надолго. Я не была поклонни-

цей ее поэзии, прекрасно сделанной и умной, но.. без божественной искры, огня, т. е. без сути поэзии. Едкие статьи Антона Крайнего обижали, но били мимо. Зинаида Гиппиус была сильной и оригинальной личностью, сыгравшей роль катализатора в русском литературном и философском обществе конца и начала века.

Бездомные гости слушали, с осторожной почтительностью, хозяев этой почти барской квартиры. Холодом веяло от знаменитой четы. Салон на улице Колонель Бонне был развлечением Мережковских, отголоском их петербургского значения, кружком почитателей, на который могла распространять свои чары Зинаида Гиппиус. В плане интеллектуальном — посещение Мережковских, конечно, могло быть плодотворным, в плане же сердечного участия или практической помощи — это был тот же вакуум.

Я, конечно, не совсем уверена, что молодым нужны опекуны — но никогда русская муза не находилась в такой нищете и сиротстве, как в Париже этих годов. Старших писателей это как будто не волновало. Правда, что и сами они жили трудно и бедно. Бедны были и их зарубежные читатели, книги выходили малым тиражем. Но помощь все эти известные писатели все же получали от тогда существующих общественных русских организаций, от короля Александра, от чехословаков и болгар. Их в первую очередь и печатали в зарубежных газетах и журналах. Кроме благородного труда писательства они ничем, для побочного заработка, не занимались, не делали попыток (кроме Алданова, Замятина и Набокова), как-то приобщиться к западному миру или даже научиться иностранному языку; так и перебивались, поддерживаемые самоотверженными до предела женами, безропотно сносившими тягости жизни и оберегавшими их творчество. И все же, при этом мизерном благополучии, может быть следовало бы тем, кто был на вершине эмигрантского Олимпа, хоть морально поддержать вот этих новых, пусть даже на них не похожих, по теперешней терминологии «отчужденных».

Это «отчужденье» — было ли оно порождено только внешними причинами, только «другими»? Париж, как и все столицы — город жестокий, глухой. Через стену равнодушия надо пробиваться, как герои Бальзака, напором, идти на приступ. А если есть что сказать — не только за себя, но и за других, как выпало на долю эмиграции — то это все же общий долг. Были бы услышаны голоса монпарнасцев, если бы они постарались докричаться до Запада, не замкнувшись в себе, а обернувшись к нему лицом, т. е. войти в контакт? Не спорю, первой эмиграции это было труднее, чем третьей. Люди, бежавшие от «прекрасной» революции, не могли не быть, думали здесь, врагами народа.

И все же, чудом все зарождались новые сборники и журналы, кратковременные свидетели эмигрантского культурного действия. Альманах «Круг», затем «Числа», созданные на деньги Александра Бурова предприимчивым Н. Рейзини... Оба сборника очень отражали «Парижскую ноту». «Числам» я была еще менее своя, чем «Объединению молодых писателей и поэтов». Когда «Числа» уже тихо агонизировали, то Л. Кельберин, сам в них участвующий, написал, в довольно запутанной статье, о них такое:

«Человек 30-х годов (подразумевая, повидимому, «численцев») есть человек всяческих отрицаний. Но так как отрицания эти не являются плодом критического разума, а вытекают из оскорбленной ограничениями глубины жизни, то их, в сущности, можно назвать отрицанием ограничений».

И дальше:

«Отрицание ограничений не есть ли в сущности отрицание нашей жизни, не есть ли оно воля к смерти?»

(«Полярная Звезда», 1935 г.)

Понятно, что не только «Числа» мне не подходили, но и я им не подходила.

«Отчужденность» не была моей участью просто потому, что я, по своему выбору, ни к каким интеллектуальным группировкам не принадлежала и друзей находила в самых разных, и часто враждующих между собой, тенденциях. Так Иван Шкотт (Болдырев) и Анатолий Штейгер были во всем противоположны, друг с другом общались мало, но оба были со мною дружны.

ИВАН БОЛДЫРЕВ

Среди парижских молодых писателей жил, иногда с ними встречаясь в кафе Монпарнаса, но всегда оставаясь в стороне, Иван Болдырев (Шкотт), потомок лесковского Джемса Шкотта. Его трагическая «русская» судьба не была похожа на тоже трагические, но по-иному, наши судьбы. Молодые русские писатели и поэты попали на Монпарнас из самых разных углов России, но ни один из них не успел — в 30-х годах — узнать тяжесть советской ссылки.

Человек предельно сдержанный, Иван Шкотт о своих переживаниях, о своих трудностях никому не рассказывал. В 1923 году он был студентом московского университета на физико-математическом факультете. Там и стал он членом только что образовавшейся группы чисто академического характера. Группа эта собиралась противодействовать разложению, вносимому в университетскую жизнь студенческой коммунистической ячейкой. Группа была против вторжения политики в академическую жизнь. Участников ее, конечно, арестовали и 20-летний Шкотт, после восьми месяцев тюремного заключения, был сослан в Нарымский край.

Свободолюбие, молодость и здоровье помогли ему осуществить фантастический побег, в условиях, не имевших ничего общего с побегами ссыльных революционеров царской России. Спутником его был ссыльный еврей-контрабандист. Оба они прошли, то пешком, то в лодке, сотни верст, остерегаясь каждого, кто мог им попасться в сибирских просторах. Спутник его помог Шкотту перейти польскую границу. В Польше Шкотта арестовали, затем выпустили, и он смог добраться до Франции, где начал работать чернорабочим на востоке Франции. Оттуда, мечтая возобновить прерванное учение, Шкотт перебрался в Париж, где в 1930 году и встретилась я с ним у А. М. Ремизова.

Он поразил меня своей удивительной сдержанностью и необыкновенным упорством в работе и в ученье. Что только он ни делал: работал ночью на кабестане, был ночным сторожем, вырезал декоративные пластинки из кости и металла в своей убогой комнате, где сам установил мотор, давал уроки математики и русского языка — и в то же время неустанно читал, писал и учился, записавшись на курсы русской технической школы.

Условия побега тяжело отразились на его здоровье. Он начал глохнуть, боялся, что потеряет и зрение. Тяжелой заботой была для него и судьба его матери, оставшейся в Москве. Из своего скудного заработка Иван Шкотт посылал ей иногда кое-что. Обо всем этом мы, его друзья, больше догадывались, чем знали. Жаловаться на свою судьбу он не умел, а помочь ему было можно — только устроив его на более хорошо оплачиваемую работу; но в те времена тех, кто имел Нансеновские паспорта, устраивать было трудно.

Единственная книга Ивана Болдырева (Шкотта) «Мальчики и девочки» была издана в 1929 году в издательстве «Молодые Писатели», которым руководил М. Осоргин. Она описывает советскую школу в то время, когда в ней сохранились еще старые педагоги, дивящиеся новым порядкам: «школа ли, —

вертеп ли?». Но несмотря на разруху, на голод и холод, не об этом ведется рассказ, а об юности, о радости, о любви.

«От века в век стоит камень белый в Москве: шаркали пудреные парики и камзолы, давнишнее-давнее, а на памяти орел, золотые буквы: «Мужская классическая гимназия».

Орла сняли в 18-м; чистый от всего, строгий в колоннах — камень белый.

На железных воротах нынче доска, вычернены молот и серп, вычернено «Единая советская трудовая школа»...

А в школе девочки и мальчики, родившиеся в начале XX века и не знающие, что ждет их впереди, после выпускной «Маевки».

Еще несколько дней — запустеет школа: получат аттестаты, так никудышные бумаги, одиночками пойдут по Москве, всем городам, по просторной Руси, всей земле — великим и жалким человеческим походом, через человеческие мытарства и утехи — люди дела, люди денег, люди служения и любви: некоторые никогда не станут людьми, никакими, но всякий будет искать свое счастье, всякий по-своему»...



В субботу 20-го мая 1933 года, в Брюсселе, я получила от Ивана Шкотта последнее письмо. 19-го мая он принял большую долю веронала. В тот же день зашла одна его ученица и, не достучавшись, ушла [3]. Он был найден, еще живым, только через 36 часов; спасти его не удалось. И до сих пор живет во мне боль, что ничем я не сумела помочь этому умному, талантливому и достойному человеку.

---

3) М. б. была у него надежда на помощь.

АНАТОЛИЙ ШТЕЙГЕР

С Анатолием, Толей, Штейгером я встретилась впервые в 1920 году, в Константинополе. Были мы погодками, может быть была я на год старше его, мне было 14 лет. Я училась тогда в американском колледже в Арнаут-Кей; Толя, его сестры, Алла и Лиза, и маленький брат Сережа жили в Меннонитском приюте для русских детей, где-то недалеко, насколько мне помнится, от площади Таксим — и оба мы были скаутами. В коротких трусиках, в белой рубашке, худенький, чуть-чуть горбившийся от худобы, со смуглым, бледным, узким лицом, тонкими чертами, породистым носом с горбинкой и карими глазами на фоне синеватых белков, Толя держался с достоинством и смеялся редко. Дружбы между нами особенной не было, встречались мы на «походах».

Брат Штейгера, бывший морской офицер, перешел к большевикам в годину лихолетья и исполнял какие-то функции в Кремле; окончил, как в те времена было нормально, расстрелянным при Сталине. Может быть, «красному» барону поверить до конца не могли.

Затем Штейгеры поступили в русскую гимназию и с ней уехали в Прагу, а я — в Брюссель и Париж. После моего замужества и возвращения из Экваториальной Африки, я стала часто приезжать в Париж, и через Владимира Смоленского, с которым подружилась еще в 1925 году, познакомилась понемногу с молодыми писателями и поэтами, тогда еще не монпарнасцами, так как стихи мы читали друг другу в живописных и неблаговонных кафе «Ля Болле» и «Ирондель», то на площади Одеон, то в закоулке близ бульвара Сен-Мишель. Тогда-то я и стала членом Союза Молодых Писателей и Поэтов. Но Штейгера я там не помню до 1934 года.

Долгое время вся семья Штейгеров жила в самой большой бедности, позабыв о том, что Штейгеры принадлежат к швейцарской, бюргеровской фамилии — кантона Берн и что швейцарское гражданство ни-

когда не теряется. Перестав быть «нансенистами», положение семьи улучшилось немного, и Толя, бывший одно время рабочим, что для чахоточного было очень трудно, смог даром лечиться в швейцарских санаториях.

После встречи, о которой он упоминает, на площади Одеон [4]), и началась наша не очень обширная, но интересная, по деталям литературной жизни и по заметкам о политических событиях того времени, переписка.

Один из самых верных приверженцев Адамовича, Толя, при всякой встрече, не уставая расспрашивал его о персонажах декандентского Петрограда, ловил всякое его слово, забрасывал вопросами: А какая была Ахматова? А что сказал Блок? что зачастую досаждало Г. В. Он торопился там поиграть в карты, а Толя был тут, и все спрашивал и спрашивал... Люди вообще, впрочем, его интересовали, и события. Бывший младоросс или, во всяком случае, им сочувствующий, он, хоть и не имея точной политической установки, стал впоследствии несколько леветь, хоть и оставался типичным «бывшим классом» в своей деликатности и тонкости. Прелесть, веющая от Толи, ощущалась такими разными людьми как Адамович и Дон Аминадо. Короткие, на одно дыханье, стихи Штейгера, в простоте и чистоте переросли Монпарнас, то, что казалось обещаньем, стало совершенством — тихий голос звучит и сейчас. Было у Штейгера острое ощущение жизни и аппетит к ней, как бывает у чахоточных, а также и сознание, с самой ранней юности, что смерть была не поэтической идеей, а реальностью, спутницей всех его странствований.

Стихи Штейгера, с налетом парижской недоговоренности и грусти, относятся к лучшим произведениям «монпарнасской ноты»:

---

[4]) См. письма.

«Все-таки нас это тоже касается:
Ландыши, что продают на мосту;
Лица прохожих (их взгляд, что встречается);
Облако; день, что за днем удлиняется
Русские службы (вечерня в Посту)...—

или:

«Мы верим книгам, музыке, стихам,
Мы верим снам, которые нам снятся,
Мы верим слову... (Даже тем словам,
Что говорятся в утешенье нам,
Что из окна вагона говорятся)...»

Вечер, о котором идет речь в первом письме Анатолия Штейгера, мне не удалось устроить, слишком мало оставалось времени до его приезда. Вечера устраивались почти всегда Клубом Русских Евреев — русская колония в Брюсселе, нечего греха таить, в обшем была далека от литературы и круг ее интересов был ограничен.

Анатолий поселился на несколько дней в скромной мансарде нашего дома на улице Вашингтон, где живали и Владимир Сирин (Набоков), и Анатолий Алферов, и Евгений Замятин. Он покорил всех домашних врожденным тактом, отменной вежливостью и живостью разговора. Толя спускался к утреннему завтраку в сетке, приглаживающей его пышные волосы, очень был кокетлив и любил очаровывать. Я водила его по Брюсселю, мы спускались в живописный квартал Мароль, лежащий внизу города, у ног слонового, не по стране, Дворца Правосудия, где толстые и бойкие уличные торговки были черноволосы, носили в ушах цыганские серьги и видом своим напоминали о длительном пребывании во Фландрии испанских солдат герцога Альбы. Мы подолгу стояли перед кружевными камнями домов Большой Площади, смотрели на «Маннекенписс» — самого старого буржуа Брюсселя, заходили в кафе, где распивали пиво «ля Гез а ля мор сюбит», то есть внезапной смерти, вспоми-

нали Бодлера, так яростно ненавидевшего Бельгию, и Верлена, ранившего, вот на этой самой улице, Артура Рембо. А затем, как и всех кто к нам приезжал, повела я Толю в Королевский Парк, где совсем инкогнито — непосвященный и не найдет — в запущенном овраге, стоит бюст Петра и статуя лежащей в гроте женщины. В альбом, начатый для меня, когда я выходила замуж, «свадебной грамотой» А. М. Ремизовым, Штейгер написал

«...В этот день — его забыть нет силы, —
Когда в Брюсселе, в предвечерний час
Меня к Петру и «деве» Вы водили
И Петр сердился на бесстыжих нас...»

Из Брюсселя Анатолий Штейгер уехал в Берлин. Я очень ему советовала повидать там Владимира Сирина. До войны 1939 года, вернее, до его отъезда в Америку, между Владимиром и нами существовала очень большая и, казалось, прочная дружба. «Монпарнас» это ставил мне в вину, там отношение к Сирину было явно недружелюбное, отчасти, пожалуй, от негодования, что лучший писатель нового поколения не только к Монпарнасу, но даже и к Парижу не принадлежал, отчасти и оттого, что Георгий В. Адамович занял по отношению к Сирину известную позицию, а влияние Г. В. на монпарнасскую, даже и относительную молодежь было так велико, что выражать особое мнение не полагалось. Отголосок такого предубеждения находится и в одном письме Анатолия Штейгера: «Но после наших встреч (с Сириным) мой очень умеренный к нему интерес — необычайно вырос».

Не все письма Анатолия Штейгера у меня сохранились, но с Брюсселя нам больше встретиться и не пришлось. В начале 1941 года я начала пробираться из Парижа в Лондон. Анатолий Штейгер был в Швейцарии и снова тяжело болен. Несмотря на это, почти до его смерти, благодаря ему я могла переписываться со своей матерью, оставшейся во Франции. Я посы-

лала мои письма из Лондона в нейтральную Швейцарию. Толя пересылал их моей матери, а ее письма отправлял в Лондон.

Так, к моим литературным воспоминаниям о нем присоединяется еще и благодарная память об этом, тогда не малом, благодеянии.

Напечатано в «Возрождении»
№ 195, март 1968 г. Париж



ПИСЬМА С МОНПАРНАСА

ПИСЬМА АНТОНИНА ЛАДИНСКОГО

19 июля

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Не сердитесь на меня, что не отвечал на Ваше письмо: забыл и было много хлопот с печенью. Теперь Осоргин прислал мне Вашу статью об эмигр. поэтах и мне захотелось написать Вам, поблагодарить за теплоту.

Уезжаю на 3 недели в Польшу к родным. Отвык путешествовать и было столько хлопот с визой, что я уже устал.

С удовольствием увижу Варшаву, Краков.

Целую Вашу руку
преданный Вам
Ант. Ладинский

Что Вы перевели из моих стишков? Интересно бы прочесть в переводе.

---

22 июля 34
Париж

Ant. Ladinsky
51, rue de Turbigo
Paris 3

Милая Зинаида Алексеевна,

Это я отвечаю с большим запозданием на Ваше письмо. К сожалению, редакция не согласилась напечатать рецензию о «Дне Культ» [1]), потому что Реп-

[1]) «День Русской Культуры в Брюсселе».

нинский всех кроме Вас ругал, а ругательные рецензии печатать о «дне» неудобно — всякий «делает, что может».

Как Вы поживаете? Что у Вас нового? Я все хвораю, вожусь со своею печенкой. У нас в Париже жарко, скучно. На Монпарнасе тоска смертная.

Если будет что-нибудь нужно или интересное — напишите.

Жму Вашу руку

Ант. Ладинский

---

26 сент.

Ваше Сиятельство,

Покорнейше Вас благодарим за книгу. Как она отличается от первой! Скоро приедет А-вич, и у меня с ним будет разговор. Конечно, Вам приятнее было бы, чтобы написал о книге он.

Я был в деревне, отдыхал, поэтому и задержался с ответом на Ваше письмо. За милый и дружеский отзыв спасибо, за память тоже.

Что касается адресов, то я мог собрать только следующие:

«Сегодня» Dzinaver iela 57, Riga Latwiga
Тур. биб. 6, rue Val de Grace, Paris 5
Ил. Россия 24, rue Clement Marot, Paris
Ил. Жизнь 5, rue Saulnier, Paris 9
Журнал Содружества Karjalakatu 6, Vupuri, Finlande
В Харбин просто:
Ред. газета «Заря»

других не знаю, Встречи и Меч приказали долго жить

Совр. Записки 6, rue Daviel, Paris 13

Во многих странах никаких газет уже нет. Если найду еще полезные адреса — пришлю. Но ведь о стихах не любят писать.

Мое мнение, повторяю, — удивление... Некоторые пьесы мне очень понравились, если А. не напишет, постараюсь написать я. Но лучше пусть он.

Маленькое сожаление: слово «Уход» на обложке надо бы поднять на 4 сантиметра.

Как вы живете? У меня всякие неприятности. Печенка лучше, но открылась рана. Когда все пройдет мечтаю приехать в Бельгию. Устроили бы мне чтение в Вашем клубе. Кажется, это оправдывает расходы. А у меня есть римская проза (чуть неприличная).

Жму Вашу руку и целую (руку же)

Преданный Вам

Ант. Ладинский

---

21 ноября

Милая Зинаида Алексеевна

Не гневайтесь на меня за опоздание. Не было случая хорошо поговорить с Адамовичем. Он обещал, что напишет о Вашей книге в одном из ближайших четверговых номеров. Стихи я передал редактору. М. б. и напечатают. Но со стихами у нас теперь плохо.

Собираетесь ли Вы в Париж? У нас — зима, туманы. По субботам собрания в Napoli. Нового ничего нет.

Целую Вашу руку

Ант. Ладинский

---

25 дек.

Милая Зинаида Алексеевна

Поздравляю Вас с Новым Годом. Что то он нам сулит, хорошее или плохое? Едва ли что-нибудь хорошее? А вдруг...

Спасибо Вам за Ваше письмо и хлопоты. Едва ли я соберусь в Бельгию, это так сложно с визой и т. д.

Жалею, что Адамович написал так мало и сухо, мог бы и побольше написать. Он отговаривается «недостатком места». Но нельзя же все в кучу сваливать.

У меня ничего нового нет. Живем, скрипим пером. Не собираетесь в Париж?

Целую Вашу руку

Ваш Ант. Ладинский

ПИСЬМА ДОВИДА КНУТА

Париж, 22 июня 932
Полночь.

Милая
Зинаида Алексеевна,

Вы приветствуете мое «желание меняться», «не застывать», но я не «желаю меняться», а меняюсь.

Все же несмотря на это, да на косноязычное замечание о конструктивном творчестве, да на сложные отношения с франц. журналом (обойдусь без него — тем более, что и название у него — отпугивающее), да на непонятную заключительную фразу Вашего письма, — оно мне было очень мило и приятно.

Вашему приезду обрадуются многие — уж очень Вы всех «покорили» — добротой, веселостью и нечеловеческой чистотой душевной.

Надеюсь с Вами встретиться.

Жена благодарит Вас за привет и кланяется Вам, а я почтительно целую Вашу руку.

Довид Кнут

———— • ————

Париж, 5 Авг. 932

Милая Зинаида Алексеевна,

«Перекресток» выйдет только зимой — поэтому не спешил с ответом.

Были и другие причины, в частности — слишком большая моя «нагрузка»: почти не успеваю жить.

Никуда за это время не уезжал — по самым банальным причинам.

Когда я к Вам еду?

Написал новые стихи, на — днях прочтете в газете.

Сердечно приветствую

Ваш

Довид Кнут

Где Ваша французская статья?

19, rue d'Odessa
Paris 14e

Париж, 5 янв. 33

Милая Зинаида Алексеевна,

Не сердитесь на меня: по моем возвращении из Брюсселя тяжело заболел и вскоре умер отец (остались две маленькие девочки — мать умерла два года назад), были еще и другие тяжелые события.

Ваши поручения все вовремя выполнил; но в «Числах» Оцупа тогда не застал, Болдыреву и Варшавскому передал сердечный Ваш привет и т. д. Оба были довольны и тронуты.

Завидую, что так славно попутешествовали. Не можете ли меня научить — как осуществить подобную поездку.

. . . .

Никого не видаю. Служу в качестве велосипедиста в депо немецкой фирмы.

Сердечный привет Вам и мужу.

Д. К.

Книги мои не то «вышли», не то пропали, и не могу выслать подписавшимся на них, ни даже милейшим Марголину и Кулишеру.

Knout
12, square du Port Royal
Paris 13

Paris, le 6/I/35

Милая Зинаида Алексеевна,

Вчера случайно узнал, наконец, Ваш адрес (на Montparnasse'е, где давно не был).

Простите меня, что так поздно благодарю Вас за присылку Вашей книги.

Обнаружил у себя принадлежащего Вам Сюпервиеля [1]) — и собираюсь послать его Вам на той неделе.

Примите же мою благодарность, пожелания добра и счастья на Новый Год, и передайте мой привет Вашему мужу, который, быть может, еще помнит о нашем кратком знакомстве.

С товарищеским приветом

Д. Кнут

Knout
12, square du Port Royal
Paris 13

———— • ————

Париж, 10 июля 35

Милая Зинаида Алексеевна,

Простите это не сразу ответил: все надеялся отыскать автобиогр. заметку напечатанную в одном журнале. Но, конечно, не нашел и «спешу» послать вновь — сочиненную...

Удивлен и огорчен, что до сих пор не получили Supervielle. Я его оставил — с просьбой доставить Вам — у Кулишера, 9 февраля сего 35 года. Кроме того, просил Штейгера сказать Вам об этом. Очень обидно что он (Supervielle), еще до Вас не дошел. Не написать-ли мне об этом Кулишеру?

Жаль, что Вы не написали, кто переводит, и — что именно. Прилагаю несколько строк автобиографии.

---

[1]) Франц. поэт и писатель. Тут дело идет о книге с его автографом.

Благодарю за честь, и — вообще.

Видел Вашего очаровательного супруга.

С товарищеским приветом.

Д. Кнут

21, rue Gazan
Paris 14°

Родился в Бессарабии. Во Франции с 1920 г. Переменил уйму самых разнообразных профессий. В настоящее время: велосипедист рассыльный. Выпустил три книги стихов, приготовил для печати — четвертую книгу лирики и роман.

* * *

Париж, 16/10/35

Милая Зинаида Алексеевна,

Только что вернулся из «Новостей», куда отнес заметку о Вашей второй книге.

К «Возрождению» никакого отношения не имею — обратитесь к Ходасевичу либо непосредственно в редакцию. (Между прочим, думаю, что Вы можете писать и тем, и другим, прямо из Бельгии — предполагаю, что Ваши заметки будут воспроизводиться автоматически).

Переводы[2] мне, признаться, мало понравились. Особенно меня смутило то обстоятельство, что в стихотворении «Жена» Вы удовлетворились начальными двумя строфами, отрубив следующие четыре-пять строф.

Насчет Supervielle немедленно пишу письмо Кулишеру с просьбой передать Вам злосчастную эту

---

[2]) Мои переводы в Брюссельском «Journal des Poètes» стихов Смоленского, Раевского, Кнута, Червинской, Ладинского (и моих).

книгу. (Не можете-ли Вы ему позвонить?). Невезет нам с нею!

Итак, вскоре прочтем Вашу новую книгу, не оскудевает зарубежная пороховница! В конце месяца в Париже выйдет антология Адамовича. Вечер прошел вполне благополучно.

Кланяйтесь мужу.

С приветом

Д. Кнут

—— • ——

Четверг, 24-го

Милая Зинаида Алексеевна,

Написал Вам это письмо в среду вечером, а на следующее утро, в четверг, увидел, что Ваша заметка не напечатана. Я отложил отправку письма до выяснения причины этого «воздержания» и вчера отправился снова в «Новости» с заметкой для четвергового номера.

В редакции мне объяснили, что газета с удовольствием известит о появлении книги, но отказывается писать о предполагаемом выходе в свет и т. д. и это несмотря на то, что моя заметка начиналась со слов «Печатается и в скором времени и т. д.».

Так что, с огорчением извещаю Вас о моей неудаче, и остаюсь в Вашем распоряжении на будущее, когда книга выйдет.

Возможно и то, что другому, Ладинскому например, который всегда печатается в «Новостях» не отказали б. Но уверенным в этом быть никогда нельзя.

Кулишеру еще не написал — не нахожу адрес. Обязательно разыщу.

Итак, жду известий о том, что книга уже вышла.

Ваш

Д. К.

ПИСЬМА В. СМОЛЕНСКОГО

45, av. Michel Bizot
Paris 12e
18. 6. 34.

Милая Зина,

Получил Ваше письмо со стихами и статьями. Стихи передал Адамовичу который напечатает их во Встречах, а статьи передал Алферову.

У нас здесь все по прежнему пьянствуем и скучаем. Мечтаю уехать как можно скорее на vacances. Но время совсем не двигается, каждый день — как сто лет.

Толя [1]) просил Вам кланяться. Злобин [2]) тоже. Ляля и Алеша [3]) уехали на полтора месяца в Valence. Так что я сейчас в одиночестве и тишине.

Стихи Ваши мне нравятся только они чуть-чуть слишком нарядные. Писать теперь по моему нужно проще и точнее. Но несмотря на все это стихи хорошие, — я их очень Адамовичу расхваливал.

Целую ручку Вам
Ваш Влад. Смоленский

P.S. Толя мне говорил, что он собирается к Вам в гости. Мне кажется, что для него это было-бы очень хорошо, слишком уж он отощал в Париже. Вы его немножко подкормите.

В. С.

---

1) Штейгер.
2) Вл. Злобин.
3) Жена и сын Смоленского.

45, av. Michel Bizot
Paris 12e
4. 7. 35.

Милая Зина,

К глубокому моему сожалению я не видел Червинскую и не знаю ее адреса почему и не мог дать ей знать. Спасибо за перевод моих стихов [1]). Обязательно пришлите мне номер журнала или дайте его адрес, чтобы я мог его выписать оттуда. Биографические мои сведения очень кратки: происхожу из потомственных дворян донской области. Родился 24-го июля 1901 года в имении моего отца на Дону. Начиная с 18-ти лет воевал с большевиками в добровольческой армии с которой и эвакуировался из Крыма в 21-ом году. 2 года жил в Африке в Тунисе где и начал впервые писать стихи потом приехал во Францию, года два работал на металлургических и автомобильных заводах. Потом получил стипендию, кончил в Париже гимназию, учился в Сорбонне и коммерческой академии. Теперь служу бухгалтером в одном винном деле, или как говорит Ходасевич — «считаю чужие бутылки». В 1931 году вышла 1-ая книга стихов «Закат». Этой осенью выходит 2-ая книга «Наедине». Женат. Имею красивого сына. Вот кажется и все.

Собираетесь ли Вы приехать в Париж? Много-ли пишете стихов и прозы? Когда будете в Париже обязательно дайте мне знать, очень хотелось-бы встретиться с Вами и поговорить.

Ляля Вас целует

Искренно Ваш

Влад. Смоленский

---

1) В Journal des Poètes.

45, av. G-al Michel Bizot
Paris 12e
4. 12. 35

Дорогая Зина,

Большое спасибо за присланную книгу. Стихи очень хорошие, — Вы сделали большие успехи — не только формально (Вас уже можно узнавать по почерку) но и внутренне Ваши стихи стали много цельнее, глубже и значительней чем раньше. Поздравляю Вас и желаю успехов дальнейших.

Я получил Ваши переводы стихов в Journal des Poètes и написал Вам длиннейшее письмо по поводу, главным образом Вашей вступительной статьи с которой я был не совсем согласен. Вы так мне ничего и не ответили... Может быть Вы его не получили? Почему Вы не приезжаете в Париж проведать нас бедных Монтпарнасцев? Ведь Вы-же кажется все время разъезжаете по Европам, могли бы заглянуть и в наши трущобы. Кстати, я хочу издать книжку стихов как раз там, где вышла и Ваша книга. Зуров, который был недавно в Прибалтике, наладил там связь с местными поэтами и оказывается что там все страшно дешево так что книжка стихов в 4 листа стоит чуть-ли не 150 frs. Напишите мне сколько стоила Ваша книга?

Ляля и Леша Вас целуют
я целую ручки
Искренно Ваш
Влад. Смоленский.

Дорогая Зиночка,

спасибо за книжку.

Скоро ли будете в Париже? Буду рада Вас повидать.

Целую

Ваша Ляля.

ПИСЬМА ИВАНА ШКОТТА (БОЛДЫРЕВА)

27 мая (1932)

Милая Зинаида Алексеевна, последнее время я очень занят, поэтому до сих пор не написал Вам, не хотелось писать в суете, но и откладывать не хочу больше. Из наших общих знакомых никого еще не видел, расскажу о них в следующий раз.

Статья Ваша мне нравится и я очень рад, что Ваша первая статья обращена к природе. Героическому же мореплавателю Alain Gerbault [1]) не хочу простить его морального идиотизма, надо быть зловещим дегенератом для того, чтобы не взять с собой в плаванье товарища, хотя бы собаки, большого славного пса-друга.

Ваш рассказ нравится мне меньше. Судьбу Дениса Строева [2]) не следовало, пожалуй, брать темой для короткого рассказа, разве только в порядке подготовительной работы. Не должны ли Вы были испытывать чувство, что рассказывая о Строеве, неспособном вынести малейшее волевое напряжение и поэтому неспособном отстоять свое право на жизнь, — с такими людьми может нечто случиться, может нечто сделаться, сами же они ничего сделать не могут, — что рассказывая об одном из таких всегда подчиняющихся Строевых, Вы преодолеваете Вашу собственную судьбу? А если это чувство в Вас было, разве Вам не хочется написать о Денисе Строеве «большую» книгу?

Целую Ваши руки

ИШкотт

---

1) Жербо — мореплаватель-одиночка в этом году выпустил свою книгу.

2) Мой рассказ помещенный в журнале «Содружество».

3 июня (1932)

Милая Зинаида Алексеевна, примите нашу благодарность, — мою и Варшавского [1]), он с радостью ко мне присоединится, за это я ручаюсь. Ваш приезд нарушил на некоторое время изнурительную монотонность наших Парижских пейзажей — психологических, разумеется, — в которые мы с большой готовностью заключаем весь мир. Чувства, вызванные Вами у наших литераторов и пр., вероятно, весьма различны и более или менее сложны, не берусь о них судить; общим же у всех было, конечно, вялое удивление перед Вашей непохожестью ни на что, совместимое с нашим опытом, словно Вы пришли к нам из мира других измерений. Вы живете в тысячу раз интенсивнее, чем полагается на Монпарнасе, а жизнь мало по малу приобрела с кофейнями Монпарнаса удивительное сходство, все, что на них не похоже, относится к наваждению. Нелегко однако зачислить в призраки человека, который приехал к нам в гости, особенно если его реальность куда несомненнее, чем наша собственная.

Что касается меня, я не в состоянии уследить за своими капризами. Вчера все время тосковал о Вас, все время помня однако, что нам едва ли было бы вместе хорошо, сегодня вспоминаю о нашей неосуществившейся дружбе с очень хорошим чувством, но так, словно она относится к далекому прошлому. Вспомню о Вас когда-нибудь и с горечью, потому что Вы лишний раз показали мне мою неспособность пользоваться одним из лучших источников человеческой радости — дружбой. Впрочем, я, кажется, сильно преувеличиваю. Обещаю Вам больше не жаловаться.

Письмо, как и мое предыдущее письмо к Вам, вышло какое-то нехорошее, но раз оно написано, пошлю его.

Ваш ИШкотт

---

[1]) Владимир Варшавский.

15 июня (1932)

Милая Зинаида Алексеевна, в свое время я познакомился с группой русских инженеров в надежде получить при их содействии работу в Африке. Они меня уговорили поступить в русск. в. тех. институт; обыкновенно я уделяю ему только небольшую часть себя и своего времени, но на днях начинаются экзамены и я очень занят. Не можете ли Вы отложить Вашу поездку в Париж до 10-15 июля: я боюсь, что, если Вы приедете, как собираетесь, через неделю, я не буду в состоянии уделить Вам так много времени, как мне хотелось бы. Простите меня пожалуйста!

Хочу еще выяснить недоразумение с дружелюбными животными и мертвыми людьми, возникшее по моей неловкости. Не обращая внимания на ребяческую неловкость выражений, выступаю в защиту неуравновешенного парня. Он мог бы сказать приблизительно следующее: между двухчасовой прогулкой в лесу, в парке, на лодке по реке и по морю, и путешествием, длящимся месяцы, существует огромная разница. В прогулке — особенно в прогулке «созерцательного» типа — совершенно отсутствует элемент **борьбы;** при известной душевной предрасположенности мы легко приводим себя в состояние — и решительного нежелания и полной неспособности к активному вмешательству в окружающую нас действительность, хотя мы и ощущаем в эти минуты окружающую нас действительность, может быть, особенно полно; нам не нужно никаких союзников и никакого дружелюбия, мы благодарим каждое деревцо и ползущую по нему букашку за то, что они наши единокровные братья и сестры. Не забывайте кроме того, — говорит неуравновешенный молодой человек, — что прогулка, этот некий оазис одиночества и всемирности, затянувшись сверх положенного срока, возбуждает в нас сильное желание вернуться домой, особенно если нас ждут дома — жена, муж, — наши друзья, наши союзники.

Теперь о Строеве. Вы меня, очевидно, не поняли,

— я хотел сказать, что писатель должен связывать свою судьбу с судьбой своих персонажей, только в том случае писатель и может создать живых людей, к которым мы относимся весьма различно, но судьба которых нам интересна, мимо которых, не заметив их, пройти нельзя, — трудно себе представить, чтобы хорошая книга могла быть написана как нибудь иначе. Ваш Строев, если бы Вы почувствовали в нем самое себя или, лучше сказать, одного из Ваших собратов, безвольный Строев легко разрушил бы приготовленную для него литературным ремесленничеством схему и никто не сказал бы про него, что он мертвый, несмотря на его бесславную жизнь и бесславную смерть.

Большое Вам спасибо за предложение перевести какой нибудь мой рассказ, — у меня ничего нет.

Ваш ИШкотт

Уладили ли Вы все с пересылкой рисунков Алек. Мих.? [2]) Кажется, он получил не все рисунки.

---

20 июня (1932)

Милая Зинаида Алексеевна, при желании Вы легко найдете в Париже недорогую комнату в отеле. Жалко, если Вы приедете всего на три, на четыре дня!

Я предлагаю встретиться в Ротонде в семь-восемь часов вечера в понедельник 4-го, — днем я, к сожалению, занят; если же Вам это неудобно, напишите, где я должен ждать Вас в воскресенье 3-его, — лучше всего в Ротонде же, я думаю, время — после обеда. Жду Вашего письма.

На Ремизова не сердитесь.

До свидания.

Ваш ИШкотт.

---

2) Ремизов прислал мне для продажи свои рисунки — некоторые удалось продать.

27 декабря (1932)

Милая Зинаида Алексеевна, поздравляю Вас с наступающим новым годом. Не знаю, право, какие высказать Вам пожелания: бесстыдные печальные мысли плохо складываются в новогодние поздравления. Вспоминаю с большой грустью о нашей неосуществившейся дружбе.

Целую Ваши руки

Ив. Шкотт

---

24 января (1933)

Милая Зинаида Алексеевна, большое Вам спасибо. В Конго поехал бы охотно: я вполне здоров, но плохо слышу, об этом Вашего брата [3]) нужно предупредить. Вместо прошения посылаю чистый лист с моей подписью: не знаю в какой форме составить прошение, напишите его, пожалуйста, вместо меня.

Я родился в Москве 12-го ноября (старый стиль) 1903 года. В 1920 году окончил 49-ую Сов. Труд. школу 2-ой ступ., бывшую Моск. 4-ую гимназию. В 1924 году весной был арестован и по обвинению в антисоветской работе сослан в административном порядке в Нарымский край. Нелегально выехал из Колпашева (админ. центр Нарымского края) в Томск осенью 1925 года; 1-го октября перешел советско-польскую границу. Через три месяца выехал с рабочей партией во Францию. Полгода работал в Bureau d'Etudes Кнютанжского Металл. завода (Лотарингия) в качестве чертежника. С 1926 года живу безвыездно в Париже. Вот мой краткий curruculum vitae, который, может быть, Вам понадобится при составлении прошения. Сделайте все от Вас зависящее, чтобы моя поездка в Конго состоялась, Вы окажете мне прекрасную услугу.

Сегодня вечером напишу Вам подробнее, сейчас ограничиваюсь самым необходимым, мне надо торопиться на урок.

Спасибо

Ваш Ив. Шкотт

---

[3]) Мой двоюр. брат, уже давно служивший в Бельг. Конго.

25 января (1933)

Милая Зинаида Алексеевна, писать о себе сколько-нибудь подробно у меня, правда, нет сил, так я себе надоел, напрасно я обещал Вам это. Будем надеяться, что переговоры о моей кандидатуре в Африку будут успешны, тогда я приеду в Брюссель и мы переговорим обо всем.

Ваш Ив. Шкотт

---

23 февраля (1933)

Милая Зинаида Алексеевна, большое Вам спасибо за Вашу дружескую внимательность. Поездка в Африку не удалась, и Бог с ней! Не огорчайтесь за меня, — зная как трудно теперь устроиться, я не очень верил в эту поездку с самого начала, обманутые надежды меня не мучают, никакого разочарования не было.

Очень хотел бы повидать Вас, но приехать в Брюссель к сожалению не могу. Если соберетесь в Париж, буду Вам очень рад.

Целую Ваши руки

Ив. Шкотт

---

12 мая (1933)

Милая Зинаида Алексеевна, не тужите обо мне слишком, жить я больше не могу. Вы обещали мне Вашу дружбу и я умоляю Вас помочь маме: нехорошо если мама узнает о действительной причине моей смерти. Подготовьте ее, Вы можете написать ей, что приехавши по делам в Брюссель, я заболел, болезнь затянулась...: не забудьте ничего, что могло бы смягчить ее горе, боюсь подумать, что будет с мамой.

Я не могу больше писать, простите меня.

Ив. Шкотт

СССР
Москва
М. Кур. ж. д.
ст. Люблино-дачное
Октябрьская улица
дом 1/15
Валерия Венедиктовна
Шкотт



В этот день Иван Шкотт принял веронал.

ПИСЬМА А. ШТЕЙГЕРА

A. Steiger c/o Prince Chirinsky
29, rue Barbès, Issy-les-Moulineaux

8 марта 1934 г.

Милая Зиночка, простите, что так начинаю письмо, не зная Вашего отчества, но и Вы ведь меня в Париже вспомнили при встрече в кафе Одеон как «Толю Штейгера», которого Вы знали в Константинополе.

Мне посоветовали обратиться к Вам, потому что по парижским сведениям Вы в Брюсселе всемогущи.

Дело вот в чем: я еду в Берлин и в Прагу и буду в Брюсселе проездом приблизительно через десять дней, в субботу или воскресенье на следующей неделе. Не могли бы Вы организовать мне или хотя бы посоветовать к кому обратиться, литературный вечер? Если это в принципе возможно, не согласились бы Вы сказать небольшое вступительное слово, прежде чем я буду читать свои стихи и рассказы? Я бы очень мечтал об этом вечере, так как без него мне не удастся задержаться в Бельгии и осмотреть Брюссель. В смысле материальном приблизительно на какую сумму я мог бы рассчитывать? Меня бы удовлетворило совсем немногое, juste de quoi payer гостиницу, еду и мелочи.

Очень прошу Вас извинить меня за причиняемые Вам хлопоты, но по словам парижан — Кнута, Адамовича, — в Брюсселе все от Вас зависит и я обращаюсь к Вашей, так сказать, «Парижской солидарности».

В случае Вашего согласия, я Вам немедленно вышлю мои стихи и 1-2 рассказа, чтобы Вы могли заблаговременно с ними ознакомиться. Жду с нетерпением от Вас ответа. «Весь Монпарнас» Вам кланяется и Вас не забывает. Целую Ваши ручки.

А. Штейгер.

14 марта 1935 г.

Милая Зика, просто не знаю как благодарить Вас за Ваше письмо и за Ваше приглашение, которое я принимаю с радостью и буду в Брюсселе в это воскресенье. Я все же очень надеюсь, что удастся что-нибудь устроить с вечером, хотя бы и очень небольшим, так как мне все-таки очень совестно было бы Вас стеснять и доставлять Вам хлопоты.

Сегодня вечер И. Анненского и я увижу Алферова и Кнута и исполню Ваше поручение. Я еще не уверен с каким поездом мне удастся выехать, но во всяком случае я буду у Вас не позже 4 часов дня.

Очень прошу Вас простить меня за невозможную бумагу, но у меня сейчас ничего нет под руками.

Целую Ваши ручки и еще раз очень благодарю.

Преданный Вам

Толя Штейгер

———•———

5 июля 1935 г.

Милая Зика, не знаю какого Вы должны быть обо мне мнения (самого плохого конечно), потому что моя открытка из Берлина, которую Вы надеюсь получили — всего моего невежества не искупает.

Все оправдания всегда вздор, но на этот раз у меня правда есть искупающее вину обстоятельство: уже по адресу Вы увидите, что это больше не «третий Рейх» и не Прага, — а Швейцария — et ce qui est pis — швейцарский санаториум.

Моя слабость и усталость на следующий день по приезде в Прагу осложнилась еще и почти малярийной температурой, — уж давно я чувствовал себя плохо, но два французских врача, к которым я обращался перед моим отъездом из Ниццы — один из них знаменитый — убедили меня в том, что это «неврастения», — я обрадовался потому что Fernand Gregh [1])

[1]) Французский поэт, член Франц. Академии (1873-1960).

про нее написал, qu'elle est la dixième Muse...[1]) Но очень скоро выяснилось, что малярия от которой меня лечили и неврастения — тут решительно не при чем и что состояние моих легких почти «скоротечное».

Пришлось бросать все и ехать сразу в Швейцарию, где я уже второй месяц. Положение мое очень серьезное и большой вопрос «выкручусь» ли я. Во всяком случае мне минимум год в постели.

Третий Рейх произвел на меня впечатление сумасшедшего дома — язычество, выводы делаемые из расизма в науке, законодательстве и быту, — и военного лагеря. У меня были старые связи в очень разных кругах, что помогло мне ориентироваться: немцы — все — войны хотят и пойдут даже рискуя погибнуть в общей катастрофе. Я видел Хитлера, Геринга, Фрика, Геббельса. Хитлера обожествляют, но я не знаю в его ли руках реальная власть — или она в действительности у генералов Рейхсвера. Ко всему русскому — культуре, литературе, национализму, отношение оскорбительное: и первый удар конечно будет на Восток. Только и речи что об Украине.

Я несколько раз видался с Сириным и был на его вечере, на котором было человек 100-120 уцелевших в Берлине евреев, типа алдановских Кременецких — среда, от которой у меня делается гусиная кожа, но без которой в эмиграции не вышло бы ни одной строчки по-русски. Сирин читал стихи — мне они просто непонятны, — рассказ, очень средний, — и блестящий отрывок из biographie romancée — шаржа? памфлета против «общественности»? — о Чернышевском. Блестящий.

А что Вы скажете о «Приглашении на казнь»? Знаю, что эс-эры, от которых зависело ее появление в «Совр. Записках», дали свое согласие с разрывом сердца... Сирин черезвычайно к себе располагающ — puis c'est un monsieur[2]), — что так редко у нас в литературных водах, — но его можно встречать 10 лет каждый день и ничего о нем не узнать решительно.

---

[1]) Что она десятая муза.
[2]) Это настоящий барин.

На меня он произвел впечатление почти трагического «неблагополучия» и я ничему от него не удивлюсь... Но после наших встреч мой очень умеренный к нему раньше интерес — необычайно вырос.

Теперь о Праге — ее просто не узнать, я в Праге не был с 1933 года... Солдафонов и полуинтеллигентов в Ските больше не встретишь. Конечно, многое после Парижа странно — иной тон и стиль чуть все-таки московский, но все-таки почти можно было найти общий язык и общую даже тему (кроме Бема, — но Бем и Скит как мне показалось font... deux). Бем тупица, начетчик и трогательный обскурант.

Обращаюсь к Вам и Беликову и вообще к кому полагается — с жалобой на парижскую редакцию «Полярной Звезды» [3]). Я два раза тщетно писал Алферову, потом Мандельштаму чтобы добиться что нужно сделать, чтобы получить первый номер, узнать условия подписки и проч., так как в газетах никаких указаний не было дано и немногие оригиналы, подобные мне, просто не знают, что им надо делать.

От Алферова — ни слова, Мандельштам уверяет, что он бы с радостью мне эту Звезду прислал, но что в Париже нет ни одного ее номера, так как «из Брюсселя не высылают». Mes chers amis, — разве так можно? Неужели нет никого, кто бы занялся, но действительно занялся — технической частью? Мне было бы очень жаль если бы и «Звезда» погибла как и все бесчисленные подобные ей эмигрантские журнальчики, потому что будучи близок с большинством ее сотрудников — я все-таки кое-что ожидал от этого журнала.

Зика, chère, скажите мне только честно, согласны ли Вы и не очень Вам будет скучно заняться осенью изданием моего сборника? Я все-таки решил его издавать. Только если Вам это не очень скучно... И я бы очень хотел узнать **точно**, сколько возьмет Ваш Гутенеберг [4]) за книжку точно такую как мой послед-

---

[3]) Литер. журнал изд. в Брюсселе, вышел только № 1 в мае 1935 г.

[4]) Владелец брюссельской типографии.

ний сборник, но с меньшим количеством как и страниц (40-48) так и текста: мои новые стихи почти все четверостишья и восьмистишья. Из-за болезни я сейчас далеко не Крез и не Рокфеллер...

Мне попались Ваши «вокзальные» стихи в «Содружестве» [5]), которые просто хороши — конец, и гораздо больше до меня «дошли» чем Ваши стихи в «Совр. Записках».

Целую Ваши ручки, Ваш преданный

Толя Штейгер

Мой адрес: A. von Steiger, Sanatorium Heiligenschwendi ob Thurn. Suisse.

Очень прошу Вас протелефонировать Беликову, чтобы мне сразу же выслал Звезду (месяц, больше, не могу добиться).

——— • ———

Heiligenschwendi

16 сентября 1935 г.

Милая Зика, благодарю Вас очень за письмо, газету, открытку — и за память вообще, — на меня же прошу не сердиться если отвечаю не сразу: мне то лучше, то хуже, но в общем лучше и я думаю, что и на этот раз все окончится благополучно. Если благополучно пройдет осень, то к следующей зиме значит все пойдет по старому опять — Монпарнасы, Мережковские, собрания, пустоватая наша парижская сутолока которую я всему в общем предпочитаю — где-нибудь и с кем-нибудь жить ведь надо.

Благодарю очень за хлопоты о книге. Очень был бы рад, если бы Вы и дальше продолжали ею заниматься, потому что мне своими силами из санатория во всем просто не разобраться. К тому же я не представляю себе что значит например «печатный лист»...

[5]) Журнал изд. в Выборге.

Если эти «листы» стоят дешевле в Эстонии, то конечно было бы лучше печатать там где дешевле, а не дороже — сентенция à la Monsieur de la Palice — но не совсем: Поплавский печатал в Эстонии свои «Флаги» и я признаться в жизни не видел такого невероятнейшего количества опечаток. Опечатки же в стихах для автора убийственны...

Очень все же прошу в Эстонию написать — я хотел бы 1) книжку по количеству страниц и по **внешности** точно походящую на **Эту жизнь,** — обложка, **шрифт** — качество бумаги менее важно, 2) не больше 150-200 экземпляров, 3) две корректуры. Сколько в Эстонии такая книжка будет стоить — во франц. франках и сколько времени займет ее печатанье? Insistez на малом количестве набора — это почти все четверостишия.

Будете ли и Вы выпускать Вашу книжку осенью? Во всяком случае я буду печататься там где и Вы безразлично в Эстонии или в Брюсселе. Только бы хотелось выпустить книжку не позже средины ноября — в «разгар» зимнего Монпарнасского «сезона»...

Большая новость: Алла [6]) переехала из Праги на постоянное жительство в Париж. Для Парижа это приобретение, потому что она очень жива и обладает даром разбудить мертвого. Многое предвижу от этого ее переезда... Для Праги, — Скита, может быть это конец. Она была центром, — я это видел теперь весною и, если говорить честно — конечно она была единственной в Праге интересной. (Мансветов ничего не пишет, Гессен только что вылупливается из яйца).

Кстати, читали ли Вы в «Мече» критику Пражанина Андреева на Ваши «Мартовские» стихи? Этот остроумец находит, что в них больше... июня и июля. Я выписал «Меч» и наслаждаюсь его «литературной» страницей — в особенности статьями Бема — raison d'être [7]), которого ненависть к Адамовичу исключительно какая-то темпераментная. И от статьи к статье

---

[6]) Сестра А. Ш. — Алла Головина.
[7]) Смысл существования.

она только возрастает: Адамович дал слово Бему никогда не отвечать. Бем очень провинциален и плоског, но его любовь к литературе и его аберрация — он уверен, что стоит во главе «литературного направления», — трогательны: ведь его жена (с картинки Дюбу) [8]) только что за это не колотит, — буквально.

Слов не нахожу чтобы говорить о позорном конце «Полярной Звезды». Без стыда и смеха невозможно теперь перечитывать манифесты бедного Алферова. Между прочим, во всем журнале только и было что две Ваших отличных строки

Эта беженская грусть
Это беженское «пусть»

и Кельберин — стихи и «критика на предисловие к стихам Голенищева-Кутузова». Зика, что Вы нашли в Голенище? [9]) Я развеселился почти пасхальным инициалам В. Х. [10]), но они вполне законны и конечно — верьте, знаю, — Адамович против Вас ничего не имеет. О Вашей книге он написал, насколько помнится, не отписку. Просто Вам и Алле не повезло — фельетон разделен был между Набоковым и мною, потому что о нас А. давно не писал и нам пришла «очередь». Где и куда мне обращаться за моим рассказом «Ломоносов» — единственный экземпляр которого у меня взял для «2-го» номера «Звезды» Алферов? В «редакцию» (!) парижскую или брюссельскую? Но, вероятно, рассказ уже погиб, несмотря на клятвенные обещания...

На смену «Звезде» затевается что-то в Париже — И. И. Фондаминским-Бунаковым (редактор «Нового Града» и «Совр. Записок») — пока до меня доходят сведения крайне путанные — тут и «пореволюционность», но тут же и Кельберин. Напишу Вам когда

---

[8]) Французский карикатурист.
[9]) Илья Голенищев-Кутузов.
[10]) Одно из моих стихотворений было посвящено Ходасевичу — В. Х. Ходасевич, поблагодарив меня, пошутил, не Виктору ли Ховину оно посвящено?

туман прояснится, но признаться думаю — зная И. И. — что даже если что-нибудь из этой новой его авантюры выйдет, то не без тумана (плюс «неисправимый» так называемый «идеализм» и одна капля маниловщины...).

Лучше было бы вместо всех этих комедий — «Звезд», Ильи Исидоровича, Содружества и проч. — помочь Оцупу и чаще издавать «Числа», все равно ведь все так или иначе идет под их знаком или их пародирует. Люблю «Числа» со всеми их недостатками и по-моему они не уступают ни в чем «Аполлону» и его, в сущности, продолжают.

Получил от «Содружества» приглашение сотрудничать, но не буду, потому что не знаю кому нужен журнал издающийся на краю света и в наши «столицы» не проникающий, — но который без «столичных» авторов выходить бы не мог — там одни парижские имена. Посоветовали бы Вы им поддерживать в таком случае наши парижские начинания, или пусть займутся торговлей — «Русское» же «Дело» в этом случае конечно не при чем...

Очень интересно все что Вы пишете о Выставке, а также о рассказах Замятина. Ахматова сама про себя писала в стихах

Я дурная мать...

Напишите о ней подробнее. Все, что ее касается. — меня крайне волнует. Не говорил ли Замятин о Кузьмине? О Мандельштаме? Не нашем, второстепенном, а настоящем. Что за бесстыдство, право, что он для своих каракуль не берет псевдонима — его «критика» книжки Т. в той же «Звезде» достойна фигурировать среди лучших образцов наших эмигрантских потуг на глубокомыслие, — дубина жалкая.

Буду очень рад если Сирин мне напишет. Или мне написать первому? А от Вас жду длинного письма — видите, я и в санаториуме нашел чем наполнить 4 страницы, а Вы «действуете» на свободе.

Вижу Ваш берег — «Холодно. Голландия. Грустно».

Очень кланяюсь Вашему мужу — какое у него впечатление от Парижа? И не думайте, что я удовлетворился присланными Вами фотографиями...

Ваш преданный
Толя

Очень кланяйтесь Сирину.

—— • ——

(Открытка)

Sanatorium Heil. Schwendi

6 сентября 1935 г.

Зика, с нетерпением все поджидал от Вас известий, но уже почти два месяца как Вы замолчали. Получили ли Вы мое большое письмо в августе? Я получил литературную газету [11]) и очень Вам за нее благодарен. Переводы хороши все, особенно Смоленского, c'est un coup de maître [12]), потому что ничего нет трудней для перевода чем лирика. Есть ли у Вас известия от Сирина? Меня очень занимает выходящая в этом месяце Антология. Посылали ли Вы Кантору Ваши стихи? Очень надеюсь, что Вы скоро мне напишете обо всем — и о моей книжке. Рукопись уже совсем готова и хорошо было бы если бы успела выйти до Рождества.

Привет Вашему мужу.

Искренно Ваш
Толя Штейгер

Какое несчастье с Вашей королевой... [13])

---

11) Le Journal des Poètes. Брюссель, где я дала свои переводы стихов Штейгера, Кнута, Раевского, Ладинского, Червинской, Смоленского и моих — август 1935, № 7-ой.

12) Это мастерский удар.

13) Королева Астрид была убита в автомобильной катастрофе в Швейцарии.

Heil. Schwendi.

5 ноября 1935 г.

Дорогая Зика,благодарю Вас за письмо и поздравляю с выходом новой Вашей книжки, о каковом событии узнал из газет — это немного как появление на свет новорожденного: те же тревоги, опасения, надежды — во всяком случае у меня... Очень надеюсь, что Вы меня при рассылке не обидите, мне очень интересно, как далеко Вы с прошлого года «ушли» *). По разрозненным стихам, что появляются в журналах, цельного впечатления не составишь.

Мне приходится все время Вас за что-нибудь благодарить. На этот раз — за Иртеля **). Он очень любезен со мною и книжка моя уже печатается под его надзором. Стоит она действительно неправдоподобно дешево — около 150 фр. франков, но, chère amie, должен Вам заметить, что в области типографской Вы ушли недалеко от меня: в ней не «около листа», а целых четыре.

Конечно, я ничего не имею против, что наши книжки будут похожи друг на друга как близнецы. Между прочим, этот формат для меня выбирал Георгий Иванов, он напоминает довольно близко его «Розы». Георгий Иванов и в типографию со мною ездил, в ту самую, где печатал свои безумства... Горгулов [14]), — как раз в это самое время. Я с ним там и познакомился у директора в кабинете.

Что Вы скажете о смерти Поплавского?.. У меня руки опускаются и мне трудно об этом говорить, хотя Ходасевич прав и удивляться тут нечему. Только думаю, что и без «Монпарнаса» в специфическом смысле, какой Ходасевич придает Монпарнасу, — повсюду — дело кончилось бы с Поплавским точно так же. Отчаянная нищета, одиночество здесь не главное. То же самое было бы, будь Поплавский миллио-

---

*) Первый мой сборник стихов 1934, назывался «Уход», второй, о котором идет речь, — «Дорога», 1935.

**) Председатель «Цеха поэтов» в Эстонии, редактор «Нови».

[14]) Сумасшедший русский, убийца Президента Думера.

нером. Вы его видели, знаете — он был насквозь «неблагополучен» — для меня эта смерть удар. Мы были близки одно время.

Ваших бельгийских поэтов и эстетов за большевизм и не думаю осуждать. Слишком ужасна капиталистическая европейская действительность, которую оправдать нельзя ничем. Все же думаю, что коммунизм, которым охвачено все почти лучшее европейское литературное молодое поколение и некоторые старые большие писатели — либо предельная усталость и пессимизм (Андре Жид), либо просто идеалистическое недомыслие и юношеская, мальчишеская вернее, вера в perfectibilité de l'homme и «правду жизни». Все это очень серьезно и грустно, конечно.

Из газет вижу, что кроме бельгийцев Вы еще возитесь с Кириллом Набоковым, которого я очень ценю за любовь к Рильке и изумительный цвет лица. Очень кланяйтесь от меня Кириллу.

А дальше, конечно, просьбы: chère, что Вы делаете чтобы распространить Вашу книгу? Кому поручить распространение? Дому Книги? Кому там писать? Какой адрес? Ответьте пожалуйства на все эти вопросы точно и если можно поскорее. Буду Вам также очень благодарен, если Вы при помощи подписки что-нибудь распространите мне в Бельгии, если Вам это не очень скучно. Цену назначьте сами, соответствующую Вашей с позволения сказать валюте.

Вы мне ничего не написали, что рассказывал Замятин об Ахматовой и маленьком Гумилеве. Обязательно напишите об этом.

Алла мне ничего не пишет, но знаю, что она не уходит из Наполи и, как следовало ожидать, — отлично спелась с Ириной Одоевцевой.

Целую Ваши ручки. Привет мужу. Неужели и на этот раз Вы заставите меня ожидать Вашего ответа целую вечность?

Ваш Толя Штейгер.

Никакого Thyrse [15]) (sic) я не получил.

---

15) « Thyrse » — ежемесячный журнал выходящий в Брюсселе, где я помещала заметки о русской литературе.

Heil. Schwendi.

9 декабря 1935 г.

Дорогая Зика, очень благодарю Вас за Вашу прелестную книжку, которая совершенно явно — большой шаг вперед (по «дороге»). Мне очень трудно говорить о ней тоном критика, — «вот это удачно», « ça c'est raté » и объяснить почему raté, почему удачно. Очень приятен какой-то негородской ее дух, — Вы видите и дым по полю, и белые пятна между зеленью, и все эти запахи — лесные, весенние и полевые. Хорошо: Муза, на корму! — Здесь уже и запах соленого ветра и само слово корма тоже хорошее и это «обманувшее сердце руками сжимая». И о молодости:

Ведь это молодость и дар ее последний...

Но Вы, конечно, будете протестовать и со мною не согласитесь, что самое удачное стихотворение в книжке о Дафнисе. В других, в первом в особенности, голос поднимается, может быть, и выше, и «намерения» их «серьезнее», но Дафнис **законченнее** и цельнее всех Ваших стихов и тверже «держится на ногах». Может быть я пристрастен к этому стихотворению, как ко всему акмеистическому, но мне кажется, что акмеисты **тогда** и **так** не смогли бы написать — нужно было все «последующее». И, конечно, это шаг по дороге, но по дороге «из и от» (von und zu, как у немецких аристократов) акмеизма.

Как Вы пристрастны к А. [16]), может быть потому, что Вы недостаточно знаете этого очаровательнейшего, тонкого и умного человека, — все эти прилагательные неудачны, но Вы знаете, о чем я говорю, — и... и к «Монпарнасу». Да, О. жеманится, да — И. ведет себя под правоведа выпуска 1910 года, или как он правоведов и лицеистов понимает. И Ч. — декадентка,

---

16) Адамовичу.

и К. тоже из Бродячей Собаки декадент... Но что же с того? Что касается меня, то я больше с настоящими правоведами и лицеистами сидеть не в состоянии и предпочитаю Селект и Наполи «чашке чая русских дворян» и Галлиполийскому собранию: деклассированная, разночинская, полуеврейская, безнадежная и чуть сумасшедшая наша монпарнасская среда — на которой все же тень от Петербурга, от Петербургского периода русской литературы, — мне черезвычайно мила. И поэтому, я безропотно сношу потуги на философию Т., разных Я. и уродства. Много быть может значит и то, что в Париже я обыкновенно бываю проездом, хотя мне случается просиживать на Монпарнасе и целую зиму. И просиживал, и ничего. Больше всего с Адамовичем, с Поплавским, Ивановым...

. . . .

Очень прошу Вас прислать мне Вашу статью о Поплавском [17]) и, если Вы ее вырезали, статью о нем из « Nouvelles Littéraires », я не получил ее и очень бы хотел узнать, что о нем пишут.

Из Ревеля «гробовое молчанье», по Вашему выражению. На мои пять открыток с разными им вопросами — никакого ответа. Даже не знаю, печатается ли книга. Очень Вам благодарен за разрешение прислать несколько экземпляров для распространения в Брюсселе.

Еще просьба:

Адреса Литературных объединений и кому адресовать a) в Варшаве, b) в Риге и адрес «Сегодня», c) на Балканах — никого там не знаю, d) в Америке — если знаете адрес «Нов. Русск. Слова», e) на Дальнем Востоке. Потом, как отчество Алданова, Марк... а дальше? Стоит ли вообще путаться с Домом Книги? Как Вы думаете? Очень Вам буду благодарен за ответ на эти бесконечные вопросы, но я решил распространять свою книгу самостоятельно, — как и Вы.

---

17) О смерти Ю. Поплавского.

Привет Вашему мужу. Мое здоровье много лучше.

Ваш от души

А. Штейгер

Вы очень хорошо «оканчиваете» стихи —

Полдень ласковый, подай душе беззлобной
Легкий путь по радостной земле...

(Но только чтобы это не обратилось в прием?).

—А помнишь, ты была счастливой, — это волнует, все это стихотворение очень хорошо, но эта строчка выделяется и мне кажется, что к ней сходятся все Ваши «возможности».

———•———

(Открытка с нарисованным Штейгером в медальоне швейцарским пейзажем)

5 марта 1936 г.

Дорогая Зика, простите, что пишу на открытке, да еще на открытке с «пробой пера» изображающей мой санаториум, но у меня сейчас ничего другого нет под руками, а написать мне Вам очень хочется, чтобы Вы меня перестали считать за свинью и невежу.

Мое оправдание — 1) книжка моя еще не вышла, иначе Вы бы ее давно имели. Критика в «Нови» сделана, подозреваю, по рукописи. Иртель пятый месяц мусолит эти несчастные 40 страничек, напечатать которые в Париже можно было бы в неделю. С его стороны это просто... умолчу. Все ждал выхода книжки чтобы Вам написать. 2) У меня опять шла кровь горлом, что означает еще Н-ое количество месяцев ссылки и поэтому у меня кафар. Кажется, уже Вам писал, что на Рождество был в Берне, куда приезжала Алла [18]). Мы с ней провели два дня вместе, она привезла

[18]) Алла Головина, сестра А. Штейгера.

массу анекдотов, сплетен и литературных историй, до которых я смертельный охотник.

Думаю, что Вы не очень сердитесь на Адамовича за его рецензию. А М. совсем не «мой», как Вы пишете. И вряд ли найдется на него охотник. Очень прошу меня не забывать.

Ваш Толя Штейгер

Где Сирин, дайте его адрес, чтобы я ему мог послать книжку когда она наконец выйдет.

—— • ——

Heil. Schwendi

26 июня 1936 г.

Дорогая Зика, что можно требовать с узника, сидящего на веревочке — имею право писать «второй год», потому что на днях был год как я попал на эту несчастную гору... И кому? — Вам, после того как Вы только что побывали в Париже. Поэтому не прошу извинения за мое недолгое молчанье и вместе с тем нагло требую чтобы Вы мне немедленно ответили на это письмо.

Париж. Все о Париже. Решительно все, начиная со сплетен... и кончая сплетнями — потому что это самое интересное и все равно ничего другого нет. Кто, как, где, почему, с кем, кого и каким образом — ведь Вы вращались именно в том с позволения сказать кругу, — не смешивать — с Фондаминским Кругом *), которого я еще не получил. Не думайте, что я удовлетворен Вашей открыткой. Она только разожгла мое любопытство.

Парижские письма, которых я получаю в общем довольно много, — отвратны. Каждый и каждая элегантно жалуются на серость и скуку жизни и окружающей среды, дают понять в изысканных выражениях о своей избранности и своей отчужденности от окружающей среды — все это не длиннее моего стиш-

*) Лит. сборник «Круг».

ка и с таким же количеством скобок... Вы же, я знаю, открещиваетесь от декадентства — даже эпистолярного — и потому я знаю, что, при желании — пожелайте, — Вы вполне в состоянии написать письмо по «старой орфографии» — **т. е. со смыслом, с чувством** и с расстановкой.

Кстати, не знаете ли Вы, что такое с Адамовичем? Три четверга нет его статей и Сизифа *), три понедельника нет Пэнгса *). Запрашивал в Париже, но в ответ всякие бредни о непонятых душах и о том, что на Монпарнасе закрыты кафе. Закрытие кафе на Монпарнасе — совершенно серьезно, — есть предвестие конца света. Что бы я дал, чтобы выйти из метро Vavin и дойти хотя бы до цветочного магазина Bauman (via Dôme, Coupole, Select, Napoli, разумеется).

Мне в общем гораздо лучше и я думаю выйти на свободу через три-четыре месяца. Скучно, что доктора меня предупредили, что вполне здоровым я уже никогда не буду и что мне в сущности ничего нельзя. К ноябрю я надеюсь быть в Париже и приняться за половину старого, я буду все-таки осторожен и потом — зимою, если Вы меня пригласите и еще будут действовать железные дороги и не будет войны, — я приеду к Вам в гости... надолго. Вообще я решил больше не притворяться и честно нигде не жить, а путешествовать. До сих пор я делал это под благовидными предлогами, но они, кажется, уже все исчерпаны и потом мне их лень искать.

Вы бы пришли в ужас — как я и сам прихожу, — до какой степени я нс по дням, а по часам — «левею». Объяснение этому простое: я пришел к мысли, что всему объяснение в том, что «мы» (т. е. руководящие классы) величайшее сокровище человечества — Христианство — не только не попытались передать «малым сим» (народу, пролетариату), но обезвредили, засахарили и употребили и пытаемся еще употребить на защиту наших материальных мерзостей. А если

*) Псевдонимы Адамовича.

так, то ни удивляться, ни возмущаться — нечего. На смену нам, культурным, лощенным и «благородным» анти-христианам — приходят, вернее врываются, антихристиане варвары, огромные, варварские толщи народов, которые мы до сих пор сдерживали при помощи силы и церквей. «Мы» это даже, и по счастью, не совсем верно, — нас давно уже смела буржуазия и разночинцы, час которых наступает теперь. «Мы» же на это зрелище можем смотреть даже и не без злорадства: «наш» главный враг — буржуазия, и к тому же она повторила все наши ошибки и преступления. В этой схватке все мои симпатии на стороне варварского пролетариата, хотя я уверен, что он тоже сделает себе из жизни ад, и так до скончания века...

О Пушкине [19]) не может быть и речи. Несмотря на кликушество подъюбилейное в эмиграции и в России, где воскресший квартальный отбирает подписку в любви к нему, я слишком знаю, что такое Пушкин и никогда не посмею его коверкать. Помните, Адамович как-то написал «поклонник Пушкина, но человек неглупый...» — и как это верно! Ханжество кругом имени Пушкина подчас прямо невыносимо.

Ваш преданный

Толя Штейгер

Вы писали, что мои книжки отдаете для распространения Беляеву. Очень прошу Вас отобрать у него и переслать мне что осталось, так как книжка разошлась вся и у меня нет ни одного экземпляра, а ее все требуют... Кто бы подумал! Очень прошу совершенно честно написать, что Вы слышали о «Неблагодарности» [20]) в Париже. В особенности все пакости. Будьте мне другом.

---

[19]) По случаю Пушкинского юбилея, в 1937 году, я выпустила в «Журналь дэ Поэт» маленькую пушкинскую антологию с участием М. Л. Гофмана, Г. П. Струве, В. В. Вейдле, Вл. Набокова-Сирина и ряда бельгийских поэтов.

[20]) Сборник стихов Штейгера.

Зика, нет ли у Вас Блока? Если есть, пришлите сразу, просто умоляю, я очень скоро и в сохранности Вам его верну.

—— ● ——

26, av. Chilpéric, Noisy-le-Grand, Seine

8 декабря 1936 г.

Дорогая Зика, целую вечность Вам не писал, не потому, что стал изменником и забыл старую дружбу, а просто не было необходимого спокойствия — все были какие-либо faits divers, выводящие из равновесия: операция, усталость после нее, приведение в порядок матерьяльных дел, дела сердечные, приготовления к отъезду и наконец — Париж.

Сейчас я живу под Парижем в Нуази — в Доме Отдыха, в совершенной деревне, продолжая санаторский режим и вообще мало чем изменив образ жизни, который я вел в Швейцарии.

Здесь даже еще мертвее и тише, но я на это не жалуюсь, так как несколько дней проведенных в Париже показали, что «старое» (Coupole, Napoli, Select, обед в 4 часа, сон в 9 утра, разговоры о поэзии Мандельштама *) в последнем метро) — уже мне просто не под силу и я к ним до конца утратил всяческий вкус.

Впрочем, все на Монпарнасе очень милые и симпатичные и прекрасно меня встретили. Сразу же оказалось, что все вечера расписаны — вечер Ходасевича о Горьком, доказующий, что Ходасевич — джентльмен и не забыл гостеприимства на Капри; вечер Зурова у Рахманиновых; доклад Адамовича о Жиде, где была страшная толчея и Адамович говорил умно и тонко, а остальные нет, но о чем он говорил Вы уже знаете из его двух статей в «Посл. Новостях». Меня избрали в Круг — философский клуб Фондаминского, но я пока туда не езжу и предпочитаю философии митинги Народного Фронта, где грозная, грязная, искренняя

*) Юрия Мандельштама.

и отчаявшаяся толпа верит в то, что у всех будет бифштекс и рента, и что жизнь завтра будет честной и веселой, стоит только вырезать аббатов и посадить де ля Рока [21]) на фонарь, сжечь Нотр-Дам и 16-й и 17-й аррондисманы. Я всей душой с пролетариатом против буржуазии, но боюсь, что приехал под самый занавес и chambardement général — не за горами.

20 декабря будет мой вечер. Обращаюсь к Вам с большой и очень спешной просьбой: соберите и пришлите все непроданные в Брюсселе мои книжки, чтобы я получил их **не позднее** 18-го, так как конечно на вечере их можно будет распродать. Очень, очень прошу Вас об этом.

Не собираетесь ли Вы в Париж? Очень был бы рад с Вами увидеться и поговорить. У меня остались самые лучшие воспоминания о Брюсселе. Целую Ваши ручки.

Ваш преданный Толя Штейгер.

———— • ————

(Открытка)

3, av. de la Princesse, Le Vesinet (S-et-O)

4 января 1938 г.

Дорогая Зика, от души поздравляю Вас с праздниками. Что случилось с нашей перепиской? Умерла она не по моей вине. У меня к Вам неизменные самые лучшие чувства.

Весь прошлый год я провел в путешествиях — Париж - Берн - Базель - Италия - Ницца - Милан - Венеция - Триест - Любляна - Сараево, опять Италия, опять Швейцария — и сейчас до весны прочно сижу под Парижем. Пишу и печатаюсь. Очень бы хотелось знать, что Вы делаете и в какой Вы сейчас «фазе». Буду очень рад, если напишете. По моим расчетам,

---

[21]) Полк. де ля Рок, французский правый политический деятель перед войной.

у Вас есть еще моих 4-5 книжек, если они не проданы и если я не ошибаюсь, очень прошу вернуть, здесь они разошлись.

Сердечный привет Вашему мужу.

От души Ваш Толя Штейгер.

(Открытка)

Истамбул, 19/3-1939

Дорогая Зика, только что ходил по рю де Брусс около Маяка и с нежностью вспоминал старые хорошие времена. Все время думаю о Вас, в Эюбе, на Принцевых Островах, повсюду где мы бывали вместе.

Осень я провел в Рагузе и Албании, а всю зиму в Афинах. Сейчас пережидаю грозу в Истамбуле — двум смертям не бывать, а одной не миновать. Неужели опять начинается светопреставление.

Обнимаю Вас, если не будет катастрофы еще увидимся.

Ваш друг Толя Штейгер.

ИЗ ПИСЕМ А. А.

Париж, 18 июня 1934 г.

Дорогая Зинаида Алексеевна,

сию минуту (12 ч. дня) получил Ваше второе письмо.

Мне очень неловко.

У меня почти нет оправданий — почти.

Прежде, чем писать, мне хотелось всего лишь привести себя в порядок — помните? — тот самый, о котором в свое время шла речь. Так вот, порядок еще не наведен...

Простите.

Ваше письмо — первое (о втором лучше пока не говорить) — меня очень тронуло (это — правда), я испытал как-раз то, чему Вы не доверяете, в чем несправедливо мне отказываете, т. е. — радость и благодарность; радость — из-за того, что в мире вообще существуете Вы, что где-то там в Вас живу я и что где-то здесь во мне продолжаете жить Вы... и благодарность — за то, что это так, а не иначе. Но эта благодарность — как-бы в пустоту, в космос — благодарность «вообще», Вам-же лично — за думы обо мне и за всё. Испытываю я ее и теперь — спасибо.

А «друзьями» моими не обольщайтесь, не обольщайте ими и меня: я думаю, можно умереть у них на глазах, — и они не пикнут. Это, конечно, не мешает оставаться им приятными и весьма уважаемыми мною людьми — уважаемыми без всяких ковычек: ведь не на мне-же, в самом деле, свет клином сошелся.

Так-что, — пожалуйста, — не сетуйте на моих «друзей» и не считайте меня «избалованным»: если-бы Вы знали, как странно во мне звучит это слово!

Очень часто о Вас вспоминаю — и без всякой оскомины, разве только с некоторой болью да с досадой на судьбу. А судьба, кажется, пока еще не веселая пока еще трудновато жить. Ну, да, авось, — образуется: все в конце-концов образовывается...

После Вашего отъезда ничего не случилось — так-таки ровно ничего. Одна тоска.

Тем не менее предлагаю Вашему вниманию следующие «новости».

Главное, это — жара, жизнь здесь начинается лишь с заходом солнца, — да и что это за жизнь, когда ото всех стен пышит, как от горячего пирога (извините за это черезчур уж «аппетитное» сравнение), и под каждым кустиком (если-б можно было здесь действительно найти настоящий кустик!) — не «рай», а тихий ад с банановыми очистками, бумажками и ватным воздухом, словом — «гроб с музыкой» (последние впечатления от Булонского леса). Моя-же комната как-бы уже вообще выбыла из строя, это уже не «... с музыкой», а без оной; я забираюсь в нее лишь к часам 3-4 утра, — чтобы, с одной стороны, не «изныть» там окончательно от жары, с другой — чтобы ускользнуть от недремлющего ока консьержки. Но — довольно о погоде, — тем более (или тем менее), что в настоящую минуту небо передо мной, как на зло, заволоклось подозрительными облачками, и ни о какой жаре, собственно говоря, уже и речи не может быть.

Перехожу к более веселым вещам.

Вышли «Числа». Я-бы этому, конечно, никогда не поверил, если-бы не увидел «их», как говорится, собственными глазами и не ощупал собственными пальцами. Так-что — «не нужно себя обольщать: «Числа» вышли». Но гуляют по свету пока только два экземпляра, остальные где-то под семью печатями — где и почему, не указывается, но фантазировать на

этот счет не возбраняется. Будем ждать газетных сообщений.

Появились в продаже еще два номера «Меча», но об этом, я думаю, можно было-бы Вам и не говорить, разве что напечатать петитом где-нибудь на оборотной стороне листа. В связи с этим, как водится, — разговоры: «Меч» ухудшается, притупляется, из рук вон... «Меч» позорит «седины Мережковского»... «Меч» нужно «поднять» и т. д. И вот, кто-то уже «поднимает», и чем это кончится, никто не знает и — главное — почти никого уже не интересует: «Меч» «заржавел» прежде, чем его успели показать.

Да это и понятно: все здесь понемногу ржавеет и подгнивает, в самом воздухе, которым мы все здесь дышим, — отрава.

Ходят слухи (поддерживаемые такими солидными людьми, как Мережковский, Фундаминский, Адамович и т. п.), что —

«Современные Записки» — умирают (еще одна книга),
«Числа» — . . . . ”
«Встречи» — . . . . ” (еще 1-2 книги),
«Меч» — . . . . ” -ет

Из этого, конечно, не следует, что они так-таки все и умрут — авось, выживут. Говорят, парижский воздух вырабатывает в организме громадную сопротивляемость: гибнут только пришельцы, а постоянные жители, раз выжив, живут уже до глубокой старости в здравии и благоденствии. Будем надеяться — почему-бы нам в самом деле не надеяться? — и не в таких «переплетах» бывали.

На Монпарнасе, как Вы сами, вероятно, догадываетесь, — все по старому: мне кажется, что если-бы даже какое-нибудь там моровое поветрие скосило всех парижан, то придя вечерком в Наполи, Вы все-же застали-бы там Адамовича, Ладинского, Иванова, Варшавского и еще кой-кого мирно обсуждающих достоинства нового романа. Монпарнас переживет всё, это, как притушенный костер, — он будет тлеть до бесконечности. Несколько недавних неудачных (теперь все-

гда неудачных) посещений Монпарнаса ничего не изменило в моем отношении к нему:

«Все то же, то же... только нет
Убитых сил прожитых лет»...

Между прочим, в одно из таких посещений я видел, как Володя Смоленский передавал Ваши стихи Адамовичу для «Встреч» — передавал очень сериозно и «благородно» без возможной в таких случаях грязноватой иронии, как-будто свои собственные, — молодец.

Само собой разумеется, в свое время передал Ваши стихи и я (на этот раз уже для «Меча»); судьба их пока еще не известна.

В ближайшем будущем появится в вышепоименованном журнале мой рассказ («По ту сторону»), конечно, перешлю Вам его без промедления. Мережковские встретили его довольно кисло, но обратно не отдали. З. Н. говорит, что я «не прорвался в реальность» и что «не поймешь, не то это реализм, не то символизм...»; Д. С. — тот более решителен и определенен: «Много хороших мест... сон — плох... и зачем вы превратили его в конце в сверх-человека!»... В общем — вполне удовлетворительно, по многим причинам я ожидал худшего.

Через Смоленского получил две Ваши статьи. Вы так всех ругаете, что прямо страшно за Вас становится, а за «ультра-молодых» — обидно. Посмотрите на Фельзена, на Варшавского, на Шаршуна — неужто они такие уж «крикуны»? И никогда не было у «Чисел» такого лозунга (ни тайного, ни явного) — «Даешь что-нибудь новое!» — там совсем другой тон, другие слова; «подлинное», «нужное», «главное», «человеческое», — человеческое в каких угодно формах, какою угодно ценой, — вот материал для лозунга «Чисел»... Но «Числа», конечно, не исчерпывают Ваших статей, именно в остальном я вижу много правильного и даже близкого мне. Но обо всем не переговоришь.

Кажется, «новости» мои исчерпаны.

И вот теперь, не считая себя в праве дольше задерживать Ваше внимание, я с болью в сердце обнаруживаю, что, в сущности, почти ничего Вам не сказал даже из задуманного. Вероятно, очень близкое к этому должны испытывать и «Числа»: судьба моего письма — судьба «Чисел».

Говоря откровенно, мне еще хотелось кой о чем порасспросить Вас и рассказать еще кое-что о себе... — ну, да уж ничего не поделаешь — до следующего письма.

Не вздумайте на меня сердиться!

Желаю Вам счастья.

Ваш

А.

Пока еще не нашел возможности ускорить получение паспорта.

. . . .

Если Вы помните места из произведений главных русских классиков, где было-бы видно отношение их к России вообще, то черкните мне, буду очень благодарен (это — для одной предполагаемой статьи).

Господи! — вот Вы меня, вероятно, ругаете! Все пять страниц об одной литературе! И не одного ласкового слова! — Тут уже не «холодок», а холодище!

Я сейчас так близко вижу Вас перед собой, и такое особенное у меня чувство, что, думаю, Вы не должны сердиться.

А.

Париж, 28 ноября 1934 г.

Милая Зинаида Алексеевна,

Ваше последнее письмо в Етамп очень меня успокоило, из него видно, что наши с Вами отношения лучше и глубже, чем можно было думать. Вся эта грустная история подтверждает лишь мою слабость, — неспособность в нужном случае сдержать себя, неумение различить правду сквозь свое или чужое случайное настроение. Еще раз прошу у Вас прощения.

Написать из Етампа не было никакой возможности: с работы возвращались мы поздно, промерзшие до костей, до ужина отогревались в бистро у керосиновой печки, а потом уже в нетопленной комнате без стола и даже без намека хоть на захудалый какой-нибудь уют — не хватало просто духа взяться за стило. Здесь сейчас свободнее. Работа начнется, не разберешь когда, — не то в конце этой недели, не то на будущей. Остается лишь поканителиться еще день-два, чтобы разделаться с некоторыми не очень важными, но неизбежными визитами. За свою «писательскую» работу я возьмусь сейчас же после вот этого письма к Вам, но получится ли что-нибудь путное — не знаю. Денежное мое положение, как всегда, неважное, но отнюдь не катастрофическое, смущает меня лишь положение отца (Вы спрашивали), который без регулярной с моей стороны помощи существовать не может. При теперешней безработице именно регулярность эта страшна.

Вы читали, конечно, о смерти Николая Гронского[1]), о ней сейчас много говорят, это самое большое событие за последнее время. Ужасно смотреть на Павла Павловича[2]), он все силится преобороть себя и не может, и не знаешь, что делать. Уже четвертый раз за последние годы я на похоронах, и все хоронят мо-

---

[1]) Молодой поэт, друг М. Цветаевой покончивший самоубийством.

[2]) Проф. Гронский.

лодых. Как-то нелепо всегда, досадно и больно. Главное — совсем вдруг становится непонятным спокойствие верующего, каким-то пошлым оно кажется и нестоящим перед лицом вот такого Павла Павловича. Помню, когда я подходил к нему в веренице других людей, чтобы из его рук бросить в могилу горсть земли, он вдруг шопотом, почти одним движением губ стал напоминать, как они с Николаем когда-то зашли ко мне слушать рассказ, и потом быстро-быстро со страстью и болью зашептал пожелания — успеха везде и во всем, — и как-то непереносимо было, — какое-то непереносимое, светлое горе. Теперь думаю, что если пожелание — вообще действенно, то такое, как у Павла Павловича, должно гору сдвинуть. Потом Цветаева произнесла слово — твердо, толково и умно, — точно на диспуте, и все понемногу разошлись, оставив у могилы лишь П. П. и его жену (бывшую).

Зачем я об этом пишу — не знаю.

Писать о парижском писательском мире, признаться, немного надоело. Все осудительные слова давно исчерпаны, а публика на Монпарнасе с каждой субботой собирается все больше и больше. Б. Поплавский недавно сказал, что мы по его мнению «пересидели большевиков», — так же, вероятно, и «Париж» пересидит все мнения о нем.

Частности.

1. Мережковские уехали на две-три недели в Италию, где (кроме всего прочего) будут говорить с Муссолини.

2. В ближайшем будущем (?) выходит будто бы новая «третья» газета под редакцией П. Рысса по инициативе «Сегодня» и продаваться будет по 25 с. за экземпляр.

3. 15 дек. устраивается писательский бал (как в прошлом году). Устроители — те же: Одоевцева, Ольга Львовна, Фельзен и т. д.

4. Предстоит много всяких вечеров, между прочим и — «Вечер прозы», устраиваемый нашим объеди-

нением, при участии Газданова, Фельзена, Шаршуна, Одоевцевой, еще кого-то и, кажется, меня.

5. 12-го — подписной обед «Кочевья» (жив Курилка!).

6. Адамович ходит тихий и мирный, отвечает на все вопросы и разговаривает (у него, кажется, денежные затруднения).

7. Иванов, как всегда, отыгрывается на мелочах, острит — и, по общему мнению, удачнее (даже), чем в прошлом году.

8. Одоевцева уговаривает всех не обижаться друг на друга из-за пустяков и очень обижается, если ее не слушают.

9. В., как всегда, ласков и флегматичен и больше, чем когда бы то ни было подвергается нападкам со стороны Мережковских («Ах, этот слюнявый буддизм!»).

10. Смоленский пьянствует («Мы последние в нашей касте!»).

11. К., раздобыв откуда-то небольшую сумму денег и оставив на произвол судьбы как Ч., так и долги, тайно «смылся» на Юг к О. Б.

12. Ф. больше уже не опасается появляться на Монпарнасе в обществе В.

13. З. царапается с Ч. и не без неприятных для нее последствий.

14. Ч. в оппозиции всему, живет с грехом пополам, нервничает и «разлагается».

15. М. поссорился с Софиевым — очень неудачно.

16. Ладинский простужен.

17. Шаршун — «А вы не знаете, за что меня не взлюбила Шаховская? Она читала что-нибудь мое?» — Нет, кажется, не могла прочесть. — «А ну тогда ничего... ха, ха!»

18. Ходасевич на обсуждении идеологии «Перекрестка» предлагал знание грамматики стихосложения положить в ее основу. О Вас: — «Да, да у нее хороший вкус».

Я пишу Вам об этих пустячках, надеясь, что издалека они покажутся Вам более любопытными, чем

они есть на самом деле. Пытаться объединить их в какой-нибудь общей идее было бы, пожалуй, еще скучнее. Что может быть вообще скучнее общей идеи?

Очень часто я «вижу» себя у Вас в Бельгии, и как это Вам покажется не странно (!), но Бельгия совсем не ушла от меня и все время живет где-то во мне и со мной. Я очень ярко представляю себе Вас в особенности в утренние и послеобеденные часы, когда Вы остаетесь в одиночестве, причем из сложной гаммы Ваших (известных мне) настроений жульнически беру то, которое мне больше нравится... Вижу и фыркающего скачущего Аттика [3]) и слышу веселый и требовательный, призывающий Вас голос Святослава Святославовича...

От Беликова [4]) давно уже — ни слуху ни духу. Что с ним? Не иначе, как что-нибудь «сорвалось», и ему, бедняге, неловко меня об этом оповещать. Напишите о нем, пожалуйста, если узнаете.

Искренний привет Вашей маме, Святославу Святославовичу, Святославу Андреевичу и всем.

Желаю Вам всего наилучшего, и, пожалуйста, не сердитесь.

И напишите побольше о себе (но только в том случае, если Вы эти слова принимаете без обиды).

Ваш А.

Меня избрали секретарем Объединения. Пришлите мне свою фотографию, чтобы изменить карточку. И вообще — если у Вас есть какие-нибудь дела к Объединению, то сообщите, потому что мне теперь все это легко очень обделывать.

---

3) Явайский котенок.

4) Кратковременного редактора «Рус. Вестника» и «Полярной Звезды» в Брюсселе.

Частые упоминания о возможностях отдыха в Бельгии объясняются тем, что бельгийцы чрезвычайно тепло встречали первую русскую эмиграцию, к которой также благосклонно относились король Альберт, королева Елизавета и кардинал Мерсье.

В виду того, что молодым русским писателям парижанам отдыхать было негде, — главное не на что, — по нашей с мужем просьбе о. Климент Лялин, русский католик, устраивал желающих в Бенедиктинский Скит в Амей сюр Мез, и монахи монастыря Сент-Андре ле Брюж (около Брюгге) в летнее время тоже давали им приют. Это следует вспомнить с благодарностью.

ИЗ ПИСЕМ Б. О.

Суббота

Милая Зинаида — простите не знаю Вашего отчества.

Получил Ваше письмо 14-го, отвечаю 16-го: эти два дня всех встречных расспрашивал о «прогаре» Поволоцкого [1]), а встречные говорили что он и не думал прогорать. Я им поверил. Если Вам книги нужны и без «прогара» — скажите. Цены могу узнать в «Москве» (с пересылкой). Если хотите, сразу скажу им послать наложным платежом.

Стихотворенье Ваше «Напрасно синими туманами» давно уже вернул Ремизову и слышал что оно передано кому-то в «Россию и Славян.». У меня есть только Ваше «По заповедной лестнице». Если хотите чтобы Ваши стихи для сборника лежали в специальной папке — в ожидании первого заседания «редак. коллегии» — то пришлите их мне. А я буду рад их внимательно почитать.

Дела объединения? — Писал ли Вам Юрий Борисович [2]) о «книжной полке»? — на вечерах объединения продаются книги и рисунки (писателей и художников). С каждой проданной книги Об-ние берет себе с членов Об-ния 40%, не членов — 50%. Проценты за проданные рисунки по соглашению. Может быть Вы возьметесь за это дело в Бельгии: чтобы оттуда присылали нам книги и может быть рисунки (не картины: нет места)? Присылать надо на мой адрес, на

1) Книж. магазин.
2) Ю. Софиев.

мое имя. Никак не наложным платежом — наоборот, оплатить посылку сполна, а на всякий ответ — марку. Гарантии — что будет продано и в такой-то срок — не даем. Перевод денег автору — на его счет. Если автор жертвует все или часть присланного Объединению — очень его благодарим (через Вас). Не надо забывать указывать продажную цену. — Вот.

Сегодня, в субботу, — вечер чтения и разбора стихов и прозы. В след. субботу — платный вечер: читают Кутузов, Былов, я, Софиев и Поплавский. Черед неделю — доклад кн. Щербатова (?) — «Кризис искусства» с «прениями». Еще через две недели — литерат. вечер, на котором — надеемся — выступите и Вы. Начиная с доклада Щербатова, вечера (каждые 2 недели) будут идти на Denfert Rochereau. А раз в месяц — где-нибудь — чтение и разбор. Накопим денег — издадим сборник.

«Числа» выходить будут, но когда? Оцуп говорит что вот-вот наберет денег достаточно для целого года «Чисел» и сейчас же выпустит очередной номер, а потом и следующие номера — с законными интервалами. Пока все набирает матерьял, даже меня «набрал», хотя я никаких «шагов» для этого не делал (уж очень я скромен и нет у меня этого вашего писательского зуда — печататься!).

На последней «Зеленой Лампе» не был (читал там Кутузов); слышал, что Мережковский неистово возглашал что гнев, ненависть — и есть христианство, а Кутузов, не менее истово, заявлял, что антропософия — это — христианство. При этом оба обменивались колкостями. Публика, вероятно, покрикивала с мест. Там всегда довольно оживленно. «Кочевье», кажется, давно уже ничего не устраивает. — Единственный способ дать хоть немного помолчать С.

«Перекресток» устроил пустынный вечер, посвященный «Закату» Смоленского. Предстоит вечер Мандельштама — памяти его выходящей книги «Верность», где есть стихотворение о «гневных ногах», а в другом стихотвореньи — строчки:

«...предстанешь ты, со всей любовью
и во всей надежде...» (не: одежде)

13-го был писательский бал. Смоленскому очень идет фрак, а вот, например, Рощин и в смокинге — Рощин. Как выглядел я — не заметил. На мне был распорядит. бантик, главная специальность — лотерея: с двумя балеринами — набрали — 700 фр. с хвостиками — с одной 300 и хвостик, с другой 400 — и хвостик, а билет — 2 франка*). Подвыпил (бантик меня поил) заблаготворительствовался (=25 букв) и только перед самым концом спохватился начать танцевать и даже (подвыпил, а то ведь не умею!) ухаживать, да сразу, в разных залах — за 6-ю очаровательными дамами и барышнями. Теперь немного совестно.

— Вот Вам последние события в столице. Если бы найти хоть какой-нибудь способ подработать хоть немного! — Не надо ли в Бельгии столичных рекламных рисунков (моя специальность), столичного корреспондента («собственный корреспондент»), еще чего-нибудь? Я бы постарался, если бы что-нибудь да платили.

— Извините мне это лирическое отступление.

Всего Вам лучшего. Пишите пожалуйста.

Борис

P.S. Да! — о «культурной жизни». Стараюсь от нее не отставать (да и как отстанешь, живя в столице?). На докладе Эйснера я не был (и вообще его не видел, почему и Вашу просьбу все не могу исполнить). В минувшую субботу был вечер «чтения и разбора». Народа было много. Возник новый писатель — Анатолий Алферов (мы, в минувший тоже, вторник, приняли его в Объединение). Читали, после прозы Алферова, стихи. Говорили. Свои стихи промяукала и Ася Берлин. Заговорили о манере читать. Я поспешил (председательствовал) их прекратить: манера вести

*) Этим хочу сказать: что значит женское очарованье!

разговоры, надо отдать справедливость, у многих довольно бойкая. Снова читали стихи; говорили; вечер кончился.

С той же самой субботы началась и иная сторона культурной жизни столицы, только началась она не вечером, а еще днем: я изволил присутствовать на последней репетиции балетной труппы Арцыбушевой. В воскресенье был на 1-ом спектакле (зал Иена), в понедельник на 2-ом, во вторник — на 3-ем. Сегодня перерыв (нет спектакля). Завтра, в пятницу и в субботу днем — буду опять. Программа все та же. Хожу бесплатно. Есть номера более чем скучные. Всего 26 номеров. Тянется 2 1/2 часа. К сожалению, в субботу — последний спектакль. Уже вечером — снова вечер Объединения. Завтра (в четверг) вечер «Кочевья» (о Короленко), но я уже сказал, что завтра — балет. Конечно пойду не в «Кочевье». Но не следует думать, что я влюблен в балерину. Просто: надо жить культурной жизнью. Обязательно. Из балерин нельзя не отметить, нельзя не посоветовать — всем — посмотреть, Ирину (Люсю) Арцыбушеву — характерная танцовщица, особенно en valse triste, муз. Сибелиуса и танец куклы. Но и все остальные ее номера заслуживают особого внимания. Не меньшего внимания заслуживает Ольга Кедрова — «классичка». Ее природная грация, прекрасные пуанты, классическая точность па, — все заслуживает самого большого внимания и вызывает справедливый восторг. Отметим и «кокетку» (в костюме времен Директории), русскую (на пуантах) и египетский танец. Очаровательна и г-жа Красовская.

— Вот и все. Читаю книги. Последним «Совр. Запискам» радоваться не приходится.

Б. О.

Еще P.S. Кажется предстоит ряд репетиций балета О. А. Васильева. Похожу. — Все.

Б. О.

ЕДИНСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГАЗДАНОВА

15/IX/70. Мюнхен

Дорогая Зинаида Алексеевна, Вы так быстро промелькнули в Мюнхене, что я не успел даже как следует поблагодарить Вас за книжку [1]). Теперь я ее прочел — и после этого моя благодарность перестает быть просто долгом вежливости. Я сначала прочел стихи, потом предисловие Адамовича — и с тем, что он пишет я совершенно согласен. Для меня это было сюрпризом — я, к своему стыду, не знал, что Вы пишете по русски стихи. Я нахожу, что в них найден очень правильный и очень личный тон, который их делает непохожими ни на чьи другие, кроме того, в них нет того досадного «новаторства», которое чаще всего объясняется каким то психологическим или творческим ущербом: самые лучшие стихи написаны просто, будь это Пушкин, Блок или Мандельштам. Видите, в каком обществе Вы находитесь.

Я очень отрицательно отношусь к большинству критиков и так называемых литературоведов. Ничего, мне кажется, не может быть менее убедительно, чем какой нибудь «семантический ряд» или последовательность тех или иных согласных. Главный — единственный, я думаю, — критерий для оценки поэзии, это ее звук. « De la musique avant toute chose » [2]) — это всегда будет верно. И прежде всего по отношению к Вашим стихам.

Единственное стихотворение в книге, которое у меня не вызвало никакой положительной реакции, кроме того, что j'admire votre courage [3]) (как это сказать по русски?) это перевод из Alexis Leger, который как Вы знаете, такой же поэт, как я балерина. Но

---

1) Сборник моих стихов — «Перед сном».
2) «Музыка прежде всего».
3) Восхищаюсь вашей храбростью.

может быть Вы это сделали умышленно, чтобы показать, как не нужно писать высокопарный вздор?

Во всяком случае, еще раз искреннее спасибо за книжку.

Желаю Вам всего хорошего.

Ваш Г. Газданов.

БУНИН

НА своей книге «Воспоминания», изданной «Возрождением, Иван Алексеевич Бунин сделал мне в 1950 г. такую надпись: «Дорогая Зинаида Алексеевна, когда Ваше Сиятельство будете писать свои Воспоминания, не браните меня так, как я тут бранюсь». Но, конечно, и без такой надписи мне бы в голову не пришло бранить Ивана Алексеевича — не только потому, что я многому научилась читая его книги, не только потому, что нечастые встречи мои с ним были мне дороги, но и просто из благодарности. Ко мне и мужу моему Иван Алексеевич высказывал неизменно-сердечное расположение, особенно ценное именно потому, что не так уж легко он сближался с людьми. Человек Бунин был сложный и в какой-то мере трудный, но, конечно, по калибру своему он совсем не нуждается в слащавых «агиографических» воспоминаниях о нем. Любил он уважение, но не терпел лести и остался в моей памяти умным,талантливым, беспредельной честности писателем, работавшим несомненно безо всякой оглядки на читателя, хотя славу и почет ценил очень, а в деньгах нуждался почти всю жизнь.

Первая встреча наша произошла не то в 1934, не то в 1935 году. Жили мы тогда в Брюсселе. Русская колония, памятуя нашу, и особенно моего мужа, евразийскую молодость, и не считаясь с тем, что в 1932 году мой муж ушел из совета Евразийства (он предупредил П. Н. Савицкого, что, по его сведениям, Н. Клепинина-Сеземан, Н. Клепинин, члены совета Е. А., так же как А. Перфильев и В. Яновский находятся на агентурной службе СССР) — относилась к

нам враждебно. Был в Брюсселе «Русский Клуб», выражавший настроения большинства русской колонии, и члены его предавались вполне безобидным развлечениям толщи эмиграции — играли в карты, устраивали балы, попивали водочку под отечественные закуски и патриотические тосты. Членами Клуба мы, конечно, не были, работы у нас было много, да и захоти мы, нас бы наверное забаллотировали. Я начинала писать на французском языке в бельгийских газетах и журналах, и когда Бунин получил Нобелевскую премию, дала о нем статью в « Indépendance Belge ».

И вот, совершенно неожиданно, приходит нам письмо от правления Клуба — не угодно ли нам присутствовать на банкете в честь русского нобелевского лауреата. Удивлению нашему не было границ. Но мне так хотелось видеть Бунина, что я уговорила мужа не отказываться.

На банкете новое удивление: посадили меня, несмотря на мою молодость, рядом с Иваном Алексеевичем. Позднее узнала от одного из участников банкета о причине нашего приглашения. Устроители никогда Бунина не читали, не знали его книг (хотя по возрасту своему могли бы прочесть кое-что еще в России) и боясь, что вдруг писатель заговорит о своих произведениях, озаботились приглашением лиц, могущих дать ему реплику.

Опасения были напрасны, Бунин, который все прекрасно понимал, о литературе в Русском Клубе говорить не собирался.

Не могу сказать, чтобы мой знаменитый сосед мне очень понравился. В таких случаях Бунин особой ласковостью не отличался. Хотя, как я сказала, чествования любил, но считал, что всюду надо соблюдать свое достоинство, и выражал он это мастерским невниманием к присутствующим, по-актерски высокомерничая, с прекрасно дозированными мгновениями «шармантности». Все же какие-то отношения установились и Иван Алексеевич начал присылать мне свои книги с надписями и для отзыва, а иногда и письма, всегда по поводу его дел. Одно из них, третье приво-

димое, без даты (но знаю, что это было в 1936 году), относится к такому инциденту: Бунин возвращался из Праги, и вот гитлеровские таможенники подвергли лауреата самому унизительному осмотру, раздели его догола. Иван Алексеевич был в самом неистовом негодовании на которое был способен. А заметку о злодеянии я поместила сразу же в « Soir ».

Случайно найденное письмо мне от Михайлова напомнило, что зимой 1935 года, по просьбе Михаила Туровца, который устраивал приезд в Брюссель Бунина, я смогла познакомить И. А. с бельгийскими писателями. От лекции на французском языке И. А., по моему совету, отказался, сказал несколько слов (не без сильного русского акцента) о встрече своей с Толстым. Михайлов настаивал на «трапезе», он и сам любил поесть и попить — но ни бельгийский Пен-Клуб, ни «Мэзон д'Ар» на это уговорить не удалось. Знакомые Бунина на прием, конечно, были приглашены. Состоялось собрание в помещении Пен'а, обильном зеркалами и позолотой, в стиле 90-х годов. Слово И. А. я тоже перевела; к несчастью, оно у меня не сохранилось.

Я и посейчас удивлена тем, что в 1925-26 годах, живя в Париже, я с Буниным не встречалась: вероятно, его там не было. Но после той первой встречи в Брюсселе каждый раз, что я приезжала в Париж, я Бунина частенько видала. Иногда он приходил ко мне в Пен-Клуб, где я останавливалась (на рю Пьер Шаррон 66. Там было несколько комнат для приезжих членов), потом мы выходили — в кафе, бары, рестораны. Не обладая поразительной памятью многих мемуаристов, я не могу восстановить в точности все наши встречи, ни все, что Бунин мне говорил; все же кое-что было записано, кое-что и запомнено.

Каким умным, талантливым собеседником был Бунин, и как убеждалась я, слушая его, что никакое образование не может заменить ум, безо всякой ученой подготовки способный к восприятию всего, что существует в мире. Как быстро, как точно понимал

И. А. то, что он видел, то, что он слышал, да и всю таинственность человеческой природы. Регистр его был широк — и академизм прекрасно уживался в нем с самой простонародной зоркостью, как и высокий стиль — с крепким черноземным словом.

Все в тех же 30-х годах как-то приехала я из Брюсселя; И. А. встретил меня на вокзале. Комната мне была задержана в гостинице Руаяль (уже не существующей), на бульваре Распай. Мы сели в такси и по дороге Иван Алексеевич, с обычной своей остротой, принялся рассказывать все, что произошло в русском литературном Париже, выражаясь крепко и по-русски, о своих и моих собратьях. Жаль, не было тогда еще кассет, чтобы сохранить неповторимую (и нецензурную) речь академика. А когда мы выходили из такси, то, обернувшись к нам с веселым лицом, шофер сказал: «Приятно было покатать гордость нашей эмиграции. Я прямо заслушался — ох, и хорошо же Вы знаете русский язык!» и отказался взять на чай.

В те же годы он пригласил меня обедать к Прюнье на ав. Виктор Гюго. Как всегда в непривычной для него обстановке, да и вообще на людях, входя, принял несколько подчеркнуто барский вид. Комплексов у него было много, а уверенности в себе, кроме как в писателе, не много.

Проведший детство и юность в захолустном мелкопоместном быту, молодость и зрелость — среди интеллигенции, все же разночинной, Скитальца и Горького, И. А. сохранил ностальгию по дворянскому миру, к которому, он помнил крепко, он принадлежал по своему роду, и от которого был оторван. Б. К. Зайцев, в одной из своих статей, удивлялся, что дворянство уживалось в Бунине с простонародьем, но это не удивительно — помещикам «мужицкое» ближе «интеллигентского». Барство и род уважал он и в себе и в других, как что-то имеющее некую и нравственную ценность. Стоит прочесть его воспоминания, где, например, на стр. 159 пишет он о Семеновых и Буниных, или о встрече его с принцем Ольденбургским,

да и страницы из «Жизни Арсеньева», чтобы убедиться в этой ностальгии. В. П. Семенов-Тянь-Шанский рассказал Бунину о Достоевском: «Лучше многих из них (из литераторов того времени) он знал русский народ, деревню... что, кстати сказать, не мешало ему чувствовать себя дворянином, каковым он и был в самом деле, а кое в чем проявлять даже излишние барские замашки». То же самое относится к Бунину, и вот эти излишние «барские замашки» он зачастую себе позволял, предполагая почему-то, что надменность или капризность — одна из них.

В ресторане, не успели подать ему первое блюдо, И. А., брезгливо поморщившись, потребовал, чтобы его заменили. Я не впервые присутствовала на такой комедии и сразу ему сказала: «Будете капризничать, я уйду, придется вам обедать в одиночестве, вы ведь это просто так!». И тут, совсем не рассердившись, Бунин заметил: «Ишь, какая строгая, нобелевского лауреата ругаете» и сразу, развеселившись, принялся за еду.

Дальше было хуже, я позволила себе напасть на обожаемого им «самого Толстого».

— «Гениальный писатель, когда он не думает, гениальный, конечно, но, боюсь, не очень умный человек» — сказала я. Отодвинув тарелку, Бунин сурово взглянул на меня:

— «На кого лапу изволите поднимать, на самого великого писателя. Н-да! Ну, а что дальше скажете по его поводу?»

— «Как только перестает он писать то, что видит и чувствует, и начинает философствовать, куда-то девается его художественное чутье. Вот вы гораздо умнее его».

Бунин махнул рукой: «Тоже скажете», а потом, с любопытством: — «в чем это вы изволили заметить?»

— «Да вот хотя бы в том, что вы за учителя жизни себя не выставляете».

— «Да, это правда, учить я никого не хочу. А еще что?»

— «А еще вот, что вы всякую свою мысль подчиняете всегда художественному чутью. Вот, скажем, если бы вы были против церковных обрядов, не верили бы в церковные таинства, то вы все же никогда бы не написали тех кощунственных слов, которые написал ваш Толстой, и которые более присущи какому-нибудь Демьяну Бедному, чем великому писателю».

— «Не написал бы» — твердо сказал Бунин.

Если перед Толстым, как писателем, Бунин преклонялся, то просто как личность, а не только как писателя, Бунин любил, пожалуй, одного Чехова. Чехов, по его рассказам, принимал, вероятно, настоящий свой облик — совсем не тоскующего интеллигента, а деловитого, веселого и, главное, очень доброго человека.

Смолоду бранили меня все поклонники Чехова за то, что я не любила его театра, но вот, неожиданно, нашла я поддержку у Ивана Алексеевича.

— «А почему не нравится?» — спросил Бунин.

— «Да просто потому, что по ранним детским воспоминаниям о помещичьей жизни, не верю я в существование Раневской, с пафосом декламирующей свою любовь к старому шкапу».

— «Так, так! И еще: какой же купец будет рубить с такой поспешностью вишневый сад, да еще в цвету? Небось сперва соберет урожай и продаст его» — заметил Бунин. «А какой рассказ вы больше всего любите?»

— «Степь».

— «Умница! И "Архиерей", и "Палата № 6", и "Черный монах". Все это замечательно».

Репутацию свою Дон Жуана Бунин всячески поддерживал, и нет сомнения, что женщин он любил со всей страстностью своей натуры (но Дон Жуан женщин-то не любил). Мне почему-то в донжуанство его не верилось, и легкое его «притрепыванье», типично русское, принималось мною за некую игру, дань вежливости. Все это было скромно, несколько провинциально и даже юношески — так молодость пробует

свои силы, а старость хочет показать, что в ней задержалась юность. Думаю, что всерьез принимали ухаживания Ивана Алексеевича только милые, доверчивые и не очень искушенные русские молодые женщины, к тому же польщенные вниманием знаменитости (иностранных увлечений у него как будто не было). У нас установились самые простые, очень добрые отношения. Бунин со мною повидимому не скучал, а я не могла скучать, слушая его. И поэтому, когда однажды мы сидели в баре Мариньян, неподалеку от Елисейских Полей, и Бунин, только что говоривший о чем-то совсем постороннем, вдруг ошарашил меня: «А вы были когда-нибудь в Венеции? Нет? Ну вот поехали бы со мною туда, увидали бы как там прелестно — лагуны, гондолы...» я от неожиданности рассмеялась: «Ну что вы, что вы! Может, там и прелестно, я пока там еще не была, но уж если ехать в романтическое путешествие, то надо быть влюбленным — а для этого годится скорее не так нобелевский лауреат, как молодой человек». Это, конечно, было очень неучтиво с моей стороны, и любой мужчина средних лет на меня бы навсегда обиделся, но Бунин, лишь притворно нахмурившись и так же притворно вздохнув, веско заметил: «Зато я знаменитый писатель — а вы вот как изволите со мной обращаться» и сразу перешел на другую тему. Предполагаю, что про себя почувствовал облегчение: и репутация была поддержана, и никаких осложнений не последовало.

Эпизод этот нисколько не повлиял на наши отношения, разве что еще улучшил их.

Говорили мы в тот вечер, как часто случалось, о русских парижских писателях. Как и другим писателям его поколения, Бунину не нравился ни один из «молодых». И правда, племя молодое не собиралось стать учениками, продолжателями или подражателями никого из писателей старшего поколения, что им казалось обидным.

— «А Сирин?» — спросила я.

— «Этот-то? Чудовище! Но настоящий писатель»

— сразу отозвался Бунин. Я написала об этом отзыве Сирину, и когда на юге он встретился с Буниным, Сирин сообщил мне, что он «Лексеевичу нобелевскому» припомнил это «чудовище».

Помню прогулку по Елисейским Полям. Шли какие-то очередные выборы. Над зданием «Фигаро» мелькали световые результаты голосования, били фонтаны по светящимся голубкам Лалика. На тротуарах густая толпа. Перед нами парочка. Чужая молодость угнетала И. А. С ненавистью глядя на молодого, атлетического типа человека, обнимавшего свою девушку, Бунин проворчал:

— «Вот ведь сукин сын, бедрами так и вертит, что с девушкой-то выделывать будет ночью».

— «Право, Иван Алексеевич, что вам ему завидовать, у вас перед ним такое преимущество — талант. Ну, согласились бы вы вернуть себе молодость, перестав быть писателем?»

— «Это уже глупо — сказал И. А. с возмущением. — Я не могу отказаться от себя самого».

Мы пошли дальше, в Елисейские Сады, где играл мальчиком Пруст. Над деревьями всходила луна и, не смешиваясь с отблесками фонарей, белила небо. Бунин остановился.

— «Да, вот и луна. Молодые писатели все говорят — о чем писать? Обо всем, мол, уже давно написано. Не знают, дурачье, что вот о луне ничего еще никогда не было написано» и задумчивое, чуть грустное лицо моего спутника отразило самое детское восхищение луной, о которой он сам писал немало. «И о любви, и о смерти никогда ничего еще не было написано» — прибавил он с твердой уверенностью.

Меня как-то трогало и поражало, что такой умный человек, как Бунин, был чрезвычайно уязвим и страдал от давних, и все еще не изжитых, комплексов. Самый молодой русский академик, первый русский писатель получивший Небелевскую премию, гордость эмиграции — до признанья внутри СССР он не дожил — даже дальнее прошлое Бунин тяжело переживал. И. А. не принадлежал к людям, у которых душа на-

распашку, и вряд ли был человек, которому он до конца раскрылся. По его собственному, данному и мне, завету «надо всегда перед собою свечу держать», конечно, он и мне не исповедывался. Но говорил со мною прямо и откровенно. А так как я была к нему внимательна, то кое-что, вероятно, все же поняла и из недосказанного.

Кроме своего отщепенства от «подобающей» ему среды, Бунин также тяжело переживал, несмотря на всю свою славу, что он был самоучкой, что не окончил гимназии, что не имел университетского образования... Самое же главное, и неизлечимое, была рана, нанесенная ему судьбою, историей, революцией: изгнанье. Типично русский человек в своем неистовстве, вне России — несмотря на все свои скитанья, вольные и невольные — себя не мыслящий, писавший для русского народа, Бунин был оторван и от России, и от читателей, для которых писал. Он ненавидел коммунизм за его хамскую тупоголовость, за разрушение прошлого, без которого нет и будущего, за погашенье духа и творчества, за убийство России, потому что без преемственности нет и культуры — а цепь культуры была прервана насилием и, может быть, навсегда...

Беспокойный был человек Иван Алексеевич и о смерти думал много и тяжело. В 1941 году записывал в дневнике: «Лежал в страхе, что могу умереть» [1]). Он хотел бы жить в сиянии пантеистической вселенной, в ярких видениях дня, в преизбытке чувств, но вот эта пресловутая «русская душа» — заграницей довольно нам надоевшая из-за бездарного ее использования бездарными иностранными, да и русскими писателями и журналистами — не давала ему покоя. Слишком он был одаренным человеком, чтобы быть «веселым безбожником» (Сирин). Было у него и проникновение, и озарение другого мира, как свидетель-

---

[1]) Все выписки из дневника взяты из «Нового Журнала», Нью-Йорк — где отрывки дневника печатались Милицей Грин.

ствуют многие его страницы, но, вероятно, Бунин боялся покинуть земное для духовного, отказаться от чувственной радости, питавшей его искусство.

Много раз говорилось и писалось, что Достоевского Бунин не любил. Но я никогда не слыхала его ругающим Достоевского. Морщился, но не бранился. Сама я, хоть и сознавая, что персонажи Достоевского — больше души человеческие, чем люди, перебарывала в себе их русские одеянья, их исступленность, истеричность поступков и речи, оголение нутра перед другими почти садистское, стараясь завоевать для себя некую трезвенность ума, дисциплину эмоций, короче говоря, признавая, что следует иметь горячее сердце, но холодный ум.

— «Вы заметили, Иван Алексеевич, что все герои Достоевского — праздные люди?» — спросила как-то я. Ни праздность, ни неистовство их Бунина не волновали. Он ведь и сам впадал в неистовство — пример тому «Окаянные дни». Но Достоевский ставил вопросы, которые не то что были чужды Бунину, но как-то его пугали. Да и писательский «почерк» Достоевского, в понятии Бунина — небрежный, не мог нравиться мастеру художественной прозы. И еще: Бунин, как и Толстой, был человеком деревни, природы — талого снега, антоновских яблок, запахов вспаханной земли. А Достоевский — человек города, камня, тусклых фонарей, трущоб. Все же Вера Николаевна мне говорила, что за два года до смерти И. А. снова читал Достоевского.

Война 1939 года оторвала меня от литературы. Я никогда не чувствовала права писателей на «башню из слоновой кости» или на плот искусства, спасающий их во время всеобщего потопа. Мне казалось, и кажется, что в событиях следует быть не только свидетелем, но и участником. А события были тогда немалые. Подготавливая мою «переброску» в Англию, где муж находился после Данкерка, и работал с одной из групп Резистанса, я из Парижа перебралась в феврале 41-го года в Экс-ан-Прованс. До Грасс было рукой подать, но я не поехала — были другие занятия.

О разных периодах жизни Буниных на юге Франции я смогла составить себе представление уже позже — по рассказам людей, там бывавших, по некоторым замечаниям Веры Николаевны и Зурова, по благородному по своей скромности грасскому дневнику Галины Кузнецовой, с которой я к сожалению ни разу не встретилась; да еще по отрывкам из дневника И. А., печатавшимся в Новом Журнале Милицей Грин, душеприказчицей Зурова (хотя писательские дневники чаще всего о многом умалчивают).

По всем этим свидетельствам видно, что не рай был в Грассе, а некий замкнутый и драматический мирок. Роль грасских событий не была изжита Буниным, Верой Николаевной и Зуровым еще и тогда, когда муж и я, в 1948 году, встретились с ними снова в Париже. Об этом грасском периоде не принято сейчас писать. Но время идет и настанет день, когда из тех, кто знал Бунина, в живых никого не останется — а этот период все же сильно отразился на всех трех обитателях ул. Оффенбах.

Так, издали кажется чем-то противоестественным — это вне личных взаимоотношений тех, кто жил на вилле Жанет — существование некоего писательского общежития. Профессиональные союзы и организации для защиты писательских прав — дело одно: мы одного цеха, хоть и разных пород. Но писательские коммуны — уже нечто вроде гетто. А в Грассе по крайней мере три писателя, под взглядами мемуаристов — среди которых первая Вера Николаевна — были связаны не только личной жизнью, но и профессиональной. Если принять во внимание, что все писатели, от гения до графомана, все же люди особенные — сам позыв к писанию вещь необъяснимая и ненормальная — то их близкое сосуществование уже представляет тяжесть и трудность, неизвестные, скажем, в летних лагерях отпускников, думающих только о солнце и о купании.

А тут еще прибавилась и тяжесть личных отношений. Всем было трудно в Грассе, но последствия особенно драматически отразились на Леониде Зу-

рове. После первого удовлетворения, — обрести наконец ученика, писателя, хотящего идти по его стопам, у Бунина отношение к Зурову переменилось. Во-первых, опять-таки, по виду здоровая молодость Зурова его раздражала. А Зуров, тщательно и трудно писавший (это стоило ему невероятного напряжения), мучился не только творческим бессилием, но и своим положением — уже не любимого ученика и приемного сына, а подсознательного орудия реванша Веры Николаевны, в некоторых случаях проявлявшей исключительное упорство. Уйти же было некуда, и Зуров, у которого были и другие причины душевного неравновесия, не выдержал — и последствия травмы были и для него и для Веры Николаевны драматичны до конца их жизни. Все четыре участника грасского периода были люди хорошие, и поэтому-то все и мучились, каждый по-своему.

———— • ————

Как будто с 1939 года по 1948 прошло не так уж много времени — нам оно показалось молниеносным из-за множества событий — но совсем новое чувство овладело нами, когда мы снова вошли в квартиру на ул. Оффенбах. Чувство это было — жалость, и не только потому, что из углов глядела бедность: маленький, хилый старичок стоял перед нами, и я почувствовала, что ему стыдно за свою немощь. Он сразу подтянулся, впрочем, когда нас увидел, и едва сел в кресло, как из тщедушного тела поднялся так хорошо нам знакомый, крепкий голос прежнего Бунина, чудесная русская речь, лицо прояснилось старым обаяньем. Он рассказал нам о своем посещении советского посла — кто тогда не надеялся, что победа принесет и перемену в России? — но категорически заявил, что в СССР он не вернется, «там мне делать нечего». А для него выбор между бедностью и смертью на чужбине — и обеспеченностью и славой на родине должен был быть тяжел. Все та же оставалась в ослабевшем теле непоколебимость совести.

Не только бедность и постаренье И. А. вызывали жалость. В нем в ту пору остро чувствовался непреодолимый страх смерти — и если был на свете человек, томящийся о бессмертии, то это был Бунин. Все естество его противилось тлену и исчезновению. С такой же яростью, с которой он ощущал жизнь, земные радости и цветенье, предчувствовал и понимал он и тленье. Не было в Бунине мудрости и пресыщенности Соломона, но жила в нем память о конце всего существующего, память Экклезиаста.

Вера Николаевна тоже, конечно, постарела, но оставалась все такой же «ясной». Хорошей домоправительницей она никогда не была, да и авторитетным характером не отличалась, хотя было в ней упорство. Изменился и Зуров. Несмотря на обычное для него видимое спокойствие и медлительность, глаза его были странно встревожены. И, как будто чувствуя теперь ответственность, данную ей Богом, за две близкие ей, и теперь всецело зависящие от нее, души, Вера Николаевна особенно приободрилась.

Бедность Буниных была удивительна. При умении и малой доли практичности, денег Нобелевской премии должно было хватить им до конца. Но во времена «жирных коров» Бунины не купили ни квартиры, ни виллы, а советники по денежным делам видимо позаботились больше о себе, чем о них. Все письма Бунина в эту эпоху вопиют о бедности и нужде, об обмане издателей, о нерадивых адвокатах. Впрочем, уже в 1936 году запись в дневнике Бунина от 10/5 такова:

«Да, что я наделал за эти два года... Агенты, которые вечно будут получать с меня проценты, отдача Собрания сочинений бесплатно — был вполне сумасшедший. С денег ни копейки доходу... И впереди старость. Выход в тираж».

В те годы когда не уплыли еще необъяснимым способом деньги Нобелевской премии, Бунин имел репутацию скуповатого человека — я сказала бы скорее, что у него были попытки к бережливости, все из того же страха оказаться снова нищим. Все же немалую сумму отдал он собратьям, а тут налетела туча

новых почитателей, появились и опекуны. В денежных делах Бунины были беззащитны, а опекуны — легкомысленны или вероломны. Как-то, вопреки своей воле, И. А. в ту пору, в 30-х годах, деньги все-таки тратил: одной из молодых писательниц вставил зубы, другой купил платье, еще кого-то чем-то одарил за то, что поплясали перед ним — и дом Буниных остался пустодомом. Так внезапно после эмигрантской нищеты разбогатевший, Бунин из круга эмиграции не вышел, новых связей не завязал и на Западе читателей не обрел.

Что книги Бунина на иностранных языках продавались плохо — это участь многих лауреатов. Сама тематика Бунина, его художественная, но не соответственная новым веяниям, проза в чужом мире оказались не прибыльными. Издатели же — не филантропы, они поддерживают книги (и писателя) только тогда, когда с самого начала видят, что те могут стать бестселлерами.

В 1949 году вышел мой первый роман по-французски «Европа и Валериус», который получил премию Парижа и благоприятные отзывы критиков. По этому случаю я возобновила заброшенные связи с французскими литераторами и, кажется, это вечная попечительница русских зарубежных писателей, Софья Прегель, надоумила меня обратиться во французский Пен-Клуб и через его посредство собрать немного денег для Буниных.

Председателем в то время был, после Жюля Ромэна, насколько мне помнится, Жан Шлюмберже, уже старый человек, а генеральным секретарем все тот же милейший и отзывчивый Анри Мембре. Если я к русским судьбам и их превратностям привыкла (мы сами с мужем уже хорошо знали русские горки «то на коне, то под конем»), то Анри Мембре русское чудо — бедность писателя, получившего Нобелевскую премию — так изумило, что он мне с трудом поверил. Поверя, принялся за сбор. Надо сказать, что многие писатели откликнулись на призыв, в том числе и Мориак. Собрано, кажется, было около 30 000 старых

франков, сумма тогда немалая. Сам Мембре понес ее Буниным.

Потом мне рассказывал: «Знаете, я даже растерялся. Обстановка самая убогая. Но у Буниных сидела толпа людей, кто на чем мог, и все что-то пили и закусывали. Я подумал — ведь на такое количество людей денег этих хватит не надолго, а второй раз собирать нельзя». И правда — это была капля в океане нужды.

Но и в старости, в болезни и нужде, Иван Алексеевич писал все с той же строгостью к себе, и с такой же тщательностью. Совсем несправедливо было принято — не говорить о Бунине как о поэте. У него есть прекрасные стихи, нисколько не уступающие по своей художественности и талантливости его прозе. Явно к Парижской «школе» он не принадлежал, и все же был, хоть и старшим, но ее современником — так, между новым поколением поэтов и Буниным не было того промежутка времени, который делал им близким, скажем, Тютчева или Фета. Бунин свое неприятие как поэта переживал болезненно. Знаю это хотя бы по тому, с какой радостью и благодарностью он на меня смотрел, когда я что-либо цитировала из одного или другого его стихотворения «И тихо как вода в сосуде стояла жизнь ее во сне» или «Но миг один — и в темноту, в забвенье / Уже текут алмазы крупных слез / И медленно их тихое паденье». Торжественность и простота, не только настроение — которое главным образом и отмечали в своих стихах молодые поэты — но и мысль, и природа, уже почти забытая многими пленниками каменных городов.

Из уцелевших моих записей этих лет нашла две.

— Бунин о Жиде: «Вот переписываются два Нобелевских лауреата. Весь мир ждет-не дождется, когда все это будет опубликовано. А письма вот о чем. Жид мне: "От астмы дали мне очень хорошее средство, удушье по ночам почти исчезло", а Бунин ему: "От кашля очень помогают сюпозитуары из эвкалипта, что же касается гемороев, то их надо лечить так..." Вот тебе и слава!»

Другая запись от 27 апреля 1950 года.

— Бунина стрижет парикмахерша. Он сидит перед зеркалом: «Как же это так, мне неудобно, что перед вами. Вот и говорить не могу, такая астма». Вера Николаевна совсем измученная и с глушинкой. И. А. ее теребит: «Где моя пипка? Где мой платок?» Сердится: «Ах, ты всегда глупость скажешь, не говори глупостей». Приходит Зуров. И. А. сразу как-то угасает, сдерживается, чтобы не раздражаться. Зуров что-то бубнит спокойным тоном. Вера Николаевна говорит: «Ян мне такое диктует, такие вещи про Маяковского, Есенина, Горького, что они ему с того света мстить будут». И. А.: «Не могу переносить всех этих, которые то с Георгием Победоносцем или как Брюсов... А потом в другую сторону спинку гнут. Есенин, у него даже особая черта была — ухаживая, приглашал "посмотреть" как пытают в Чека».

Я: «Да ведь не выдержал же. Сам себя наказал».

— «А что вы обо мне пишете?» Я писала статью к его 80-летию. Я что-то говорю о классиках и романтиках, о художественном реализме.

Бунин: «Так, так. Только чтобы не спутали с академичностью, классику-то!».

Я: «А внешностью, я пишу, вы похожи на Вольтера».

Бунин, недовольно: «На Суворова. А в молодости, поверьте мне, я был широкоплеч».

— «Да, правда, у вас что-то общее с Суворовым, а глаза острые, злые».

Бунин: «Ну вот, злые. Чем же я виноват, что кругом себя свиней вижу».

Я: «Это как у Гоголя, свиные рыла, только это же искушенье и наважденье».

Было за что Бунину на меня сердиться — а почему-то не сердился. Ведь, случалось, и за меньшее выходил из себя. Вероятно, прекрасно понимал, что откровенность моя была основана на большом уважении к нему и на сердечной привязанности, в которой, согласно моему характеру, отсутствовал «культ лич-

ности». И к мужу моему относился он также дружественно.

Впрочем, Иван Алексеевич был порядком недоволен мною за то, что я не восхищалась «Темными аллеями», появившимися в 1946 г., когда муж был в бельгийском посольстве, а я журналисткой летала по «темным аллеям» послевоенных лет; поэтому он сделал мне на этой книге объяснительную надпись (см. письма).

Трудно точно сказать, что мне не понравилось в «Темных аллеях». Порнографии нет в ней и помина, у Бунина эротика всегда трагическая. Смерть и в «Легком дыхании», одном из лучших бунинских рассказов, и «Солнечном Ударе», и в «Деле корнета Елагина». Любовь страшна, импульс страсти — импульс самоуничтожения. Как и все большие русские писатели, Бунин был целомудрен, о половых извращениях как-то даже как будто и не подозревал. Не было в нем ни сладострастного сюсюканья плохих писателей, ни незадумчивой веселости французских галантных авторов, ни полнокровной жизнерадостности Рабле, ни извращенности современников.

Но вот в «Аллеях» все же привкус натурализма, какой-то, что ли, провинциальности. Да к тому же, русский язык таков, что в делах любви больше ему подходят намеки, многоточия, умолчания. Что-то выговаривала я ему и по поводу «воспоминаний».

— «Повезло вам, И. А., что они ответить не могут». И на то тоже ответил он надписью, приведенной в начале этих воспоминаний.

Перед нашим отъездом в Марокко, в конце 50-го года, мы несколько месяцев жили в Пасси, совсем уже в близком соседстве с Буниными, и видались часто. Бунин полеживал у себя в спальне, к нам выходил шаркающими, плохо отрывающимися от пола ногами, с тюбетейкой на голове, и старательно молодцеватым голосом спрашивал: «Небось противно на меня смотреть?» и тонкое, породистое его лицо оживлялось и молодело.

Народу у Буниных бывало много. Напротив жили

его друзья, Нилусы, вдова и дочь художника. Приходили бывшие молодые писатели, любимица его Олечка. Приходили и люди, стоящие далеко от литературы. Вера Николаевна хлопотала, ей помогали, откупоривались бутылки с вином, появлялись печенья, иногда и бутерброды, собирались какие-то остатки пищи и все разговаривали о том и о сем. И. А., устав, удалялся в спальню, но гости не уходили. Вера Николаевна вытаскивала очередной подписной лист — на помощь кому-нибудь, на издание книги, на продолжение учения, а то и просто на оплату кому-то квартиры. Явное неблагополучие было во всей этой кутерьме, и денежное положение всегда катастрофично, но ни личные, ни денежные трудности не могли погасить сияние доброго лица Веры Николаевны. Забота об Иване Алексеевиче, забота о Зурове, забота попутная о десятках других лиц была ее уделом, и сознание своей необходимости удвояло ее силы.

Как часто встречается, к самому близкому существу и Иван Николаевич, и Зуров чувствовали больше всего раздражения. Иногда мне казалось, что если бы — не только в конце 40-х годов, но и раньше — Вера Николаевна в припадке настоящего или мнимого гнева и возмущения хлопнула бы по столу, разбила чашку и закричала, то всем домашним стало бы легче жить, и что тихая ее покорность и облик мученицы, все переносящей, не разряжали, а сгущали атмосферу.

Как-то раз случилось, что я не выдержала очередного резкого выпада И. А. — я с ними была одна — и встав сказала: «Не могу я слушать как вы говорите с Верой Николаевной! Я уведу ее с собою попить кофе». Мы ушли, сели в кафе на площади Пасси. Там, с обычной своей улыбкой на бледном лице, Вера Николаевна сказала: «Вы совсем напрасно, Зиночка, за меня обижаетесь. Ведь я сильная, куда сильнее Яна. Вот он, бедный, всего боится: бедности — все не может забыть, как его семья какую-то зиму пробавлялась только яблоками — и болезни боится, и смерти, а я ничего не боюсь». И правда, в слабости своей

Вера Николаевна обладала духовной силой, помогающей ей даже и не замечать того, что замечали другие. Там, в кафе на Пасси, никогда не жалуясь, а просто радуясь возможности поделиться, Вера Николаевна говорила то и проблемах Зурова, то объясняла Ивана Алексеевича. Рассказывала, часто называя имена (а иногда о них умалчивая) кое-кого из тех, кто, пользуясь слабостью И. А. «уведут его в кафе, там угостят коньяком, ему запрещенным», попросят дать им на прочтенье письма Жида или Мориака и забудут эти письма вернуть, как и книги с автографами. Не осуждала, нет, но хотела, чтобы я поняла, что и продавать-то будет нечего.

О грасских днях говорила мало, все больше намеками, и опять-таки злобы ни на кого не затаила. Вообще, удивительная была она женщина — и если вдуматься, то она была права, Иван Алексеевич был человеком слабым, а она очень сильным, несмотря на то, что казалась бесцветной и затушеванной. «Напрасно, Зиночка, вы за меня волнуетесь».

Вера Николаевна была права. В неверном опасном мире, единым якорем спасения для Бунина была верная душа его жены. Вероятно, после смерти его Вера Николаевна смогла прочесть скупые, редкие, но такие всеобъясняющие записи, как те, которые привела Милица Грин, публикуя выдержки из дневника И. А. в «Новом Журнале».

От 15. 7. 35

«Вчера был у Веры Маан (доктор). Ужасные мысли о ней. Если буду жив, вдруг могу остаться совсем один в мире».

От 25. 5. 42

«Тоска, страх за Веру. Какая трогательная. Завтра едет в Ниццу к доктору, собирает свой чемоданчик... Мучительная нежность к ней до слез».

Была ли В. Н. умна? Право, я об этом не задумывалась. Она была все же необычайным человеком, и

замечалась в ней не так житейская мудрость, как мудрость сердца, а главное — почти нечеловеческое терпение. Любила она пошутить и часто улыбалась. Вероятно, чтобы не остаться в долгу перед успехами Ивана Алексеевича, иногда, говоря о молодости, намекала, что и с ней «всякое бывало», и тогда по ее целомудренному лицу скользило совершенно чудесное и неубедительное кокетливое выражение.

Жалости к себе она никогда не чувствовала. И из одного служенья Бунину сразу приняла на себя и больного Зурова, несмотря на опасность, с этим связанную. Для Зурова посмела ослушаться Бунина — продала после его смерти часть его архивов в СССР, чтобы после ее смерти хоть какая-то ничтожная пенсия обеспечивала бы жизнь «Лени».

Последний выход Ивана Алексеевича был в Пен-Клуб. Кажется, по почину Водова, тогда одного из редакторов «Р. М.», меня попросили устроить в Пен-Клубе, иностранным членом которого Бунин состоял, торжественное собрание по случаю его 80-летия. Оно состоялось 30 июня 1950 года.

Приглашений разослали много. Председателем Пен'а был тогда уже Андре Шамсон, бывший в Резистансе «полковником Берже». Присутствовали французские писатели и русские друзья Буниных. И. А. сидел в первом ряду, торжественный и подтянутый. К сожалению, после переезда Пен-Клуба в новое помещение, а также из-за разных событий, в нем произошедших (смена правления и секретарш), мне не смогли отыскать бюллетень, в котором подробно описывалось это последнее (при его жизни) Бунинское торжество. Я, помнится, прочла несколько слов о Бунине, а затем мой перевод о его первой встрече с Толстым. Андре Шамсон мне потом сказал, что он навсегда запомнил то, что Толстой сказал молодому Бунину о счастье. Самолюбивый же Бунин, хотя много читал по-французски и изъяснялся довольно свободно, от благодарственной речи отказался, и только, встав, с непередаваемым достоинством три раза сказал: «Мерси! Мерси! Мерси!».

Незадолго до нашего отъезда из Парижа я зашла к В. Н. попрощаться. Она была одна. Иван Алексеевич лежал тогда в католической клинике на ул. Удино (на той самой, на которой советские агенты похитили Кутепова). Вера Николаевна настойчиво просила меня поехать с ней его навестить. Я отнекивалась, догадываясь, что И. А. будет скорее неприятен мой приход. В. Н. настаивала. Может быть, не отдавая себе в этом отчета, она хотела мне показать Бунина в его слабости. И. А. лежал один в комнате, после операции простата. Как я и ожидала, увидев меня, он пришел прямо в панику: «Ах зачем, ах зачем, что на меня смотреть? Ведь противно на старика смотреть! Хорошо еще, что меня только что брат побрил» (клиника обслуживалась монахами). Стыдливо прикрывая худую шею, затем окутывая ее шарфиком, он, несколько приосанясь на подушках, скоро забыл о своем «унижении» и бодро заговорил о постороннем.

Мы были в Северной Африке в год смерти Бунина и не присутствовали на его похоронах. Когда мы вернулись, В. Н. очень просто и безо всякой жалости к себе, нам рассказала о его последних минутах — все же умер он на ее руках.

После смерти Бунина, в мое отсутствие из Парижа, в Пен-Клубе состоялось собрание, посвященное его памяти (февраль 1954 года). На нем прочли и присланный мною текст. Перед этим, в театре Вье Коломбье состоялся артистический Вечер, устроенный небезызвестным в те времена антрепренером Рогнедовым, возглавлявшим Комитет чествования памяти Бунина. В «Нувелль Литтерер» появилась моя статья «Иван Бунин, Нобель и свобода».

И в прочтенном моем тексте, и в моей статье в «Н. Л.» я упомянула о том, что и в русской дореволюционной, и в нашей эмигрантской литературе, Бунин стоял особняком. Современник и Толстого и Набокова, он всю жизнь оставался вне всяких течений и создал свою, особую, бунинскую «рапсодию». Массового читателя у него здесь не могло быть. После

премии все его хвалили и им гордились, но читали его не так уж много. Иностранцам же остался, после первых недель нобелевской славы, неизвестным. В Россию-СССР он пробился только посмертно — вначале под строгой цензурой, за которую я упрекала Паустовского, когда он был в Париже — но ведь он был не виноват... Зато, как только открылся к нему доступ, Бунина полюбили на его родине. В 60-х годах я вела в русской секции ОРТФ культурные передачи. И на ту, в которой я говорила о Бунине, было множество откликов советских слушателей. Называли они меня, знавшую писателей старшего поколения, «живой связью времен». Один из них, рабочий, прислал нам в ОРТФ семена русских цветов, прося их вырастить, и когда расцветут — отнести на могилу Бунина (что и было сделано).

Выше всего ценил в себе Бунин свое призвание писателя. Как-то с усмешкой и гордостью он обратил мое внимание на то, что несет на себе «стигматы» писательства: правое плечо несколько выше левого, второй и средний палец правой руки деформированы пером... Таланта своего в землю Бунин не зарыл и со словом обращался честно.

3-го апреля 1961 года, узнав о кончине Веры Николаевны, я пришла на первую панихиду. Но этой панихиде царствовала не скорбь, а какое-то особое, светлое чувство, как будто мы провожали очень хорошего человека, который наконец возвращался к себе — домой.

Если перечтем мы бунинский рассказ «Бернар», написанный им в 1930 г. на юге Франции и посвященный только что скончавшемуся французскому матросу, с которым Мопассан выходил в море на «Бель Ами», то увидим мы то, что так восхищенно ценил И. А. во всех людях и что уважал в самом себе. Умирая, Бернар сказал: «Думаю, что я был неплохой моряк».

«А что хотел он выразить этими словами», — пишет Бунин. «Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет, но то, что Бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю... Бернар это знал и чувствовал, он всю жизнь усердно, достойно, верно исполнял скромный долг, возложенный на него Богом, служил ему не за страх, а за совесть. И как же было ему не сказать того, что он сказал в последнюю минуту своей службы? «Ныне отпущаеши, Владыко, раба Твоего и вот я осмеливаюсь сказать Тебе и людям: думаю, что я был неплохой моряк»... Каждый, каждый из нас должен заслужить себе право в некий час сказать так, как сказал, умирая, Бернар».

Вот что написал Бунин о Бернаре. И сам он всю жизнь, по завету Гоголя, обращавшийся со словом честно, не написавший ни одной строчки в угоду людям или из-за соображений выгоды, мог сказать, умирая: «Мне кажется, я был неплохой писатель».

Напечатано, без писем,
в «Континенте» № 3, 1975 г.

ПИСЬМА БУНИНА

В моем архиве имеется 19 писем Ивана Алексеевича Бунина, собственноручный его список его книг на голландском языке и его возмущенные примечания на полях перепечатанной статьи о нем из Советской Энциклопедии.

Просьба Бунина не печатать его писем не может обязывать адресатов. Всякое полученное письмо делается собственностью лица, его получившего; как и дневники писателя, они — часть литературного его наследства. Вероятно, помня, как часто он писал в состоянии запальчивости и раздражения, что частенько выливалось в формы нецензурные, Бунин и просил их гласности не предавать. Дело такта адресатов выбрать из ими полученных те, которые пригодны для печати. Я публикую мои, так как они показывают очень красноречиво, как трудно жилось первому русскому лауреату Нобелевской премии.

———— ● ————

Вторник

Милая Зинаида Алексеевна

К сожалению, завтра не увидимся: завтра уезжаю — или утром или в 7 вечера. До свиданья, всего доброго и всяческих успехов!

Ив. Бунин

———— ● ————

2/4-36

Дорогая Зинаида Алексеевна

Получил Ваше письмецо. Я на Пасхе или тотчас после Пасхи тоже надеюсь быть в Париже (1, rue Jacques Offenbach. Тел. AUT. 17-88). Если встретимся, буду очень рад. Позвоните.

Ив. Бунин

Дорогая Зинаида Алексеевна

Окажите услугу: устройте как можно скорее перевод [1]) этой истории в « Le Soir » (или куда-нибудь).

Привет Вам и супругу.

Ваш Ив. Бунин

—— • ——

10/4-38

Очень благодарю, дорогая Зинаида Алексеевна, за « Soir ». Русский текст «Жизни А.» распорядился выслать Вам — 1-ый том только, ибо второго (начало которого есть в « Elle ») по-русски еще нет в отд. издании.

Целую Вашу руку, кланяйтесь Вашему мужу.

Ваш Ив. Бунин

—— • ——

25/6-39

Милое Ваше Сиятельство

Оч. благодарю за « Enfance » [2]), кланяюсь Вам и супругу (как его роман?) *) Я теперь в Грассе Villa Belvédère, Grasse, A. M.

Ваш Ив. Бунин

—— • ——

(После войны, дата не установлена)

Воскресенье.

Дорогая Зинаида Алексеевна

очень нужно повидаться. Будьте добры навестить меня возможно поскорее (от 4 часов дня).

Ваш Ив. Бунин

---

[1]) Заметку об унизительном обыске, которому Бунин был подвергнут германскими таможенниками.

[2]) Моя книга, выпущенная в Париже летом 1939 г.

*) Муж писал тогда роман «Мнимые числа».

15 Апр. 1948

Дорогая Зинаида Алексеевна, очень благодарю за все Ваши заботы обо мне! Насчет письма к этому Henri...?[3]) **ни фамилии ни адреса которого не могу разобрать,** решаюсь беспокоить Вас просьбой вложить это письмо (здесь прилагаемое) в конверт, надписать на нем имя и фамилию и адрес адресата и бросить в ящик на прогулке (надеюсь, что дойдет и не заказное). Вошел-ли я в члены французского PEN-Club'а и **когда,** не помню.

С Галлимаром поступите, как найдете лучше. Верно, что издательство (действительно, очень скупое) уже может дать теперь ответ, берет оно «Темн. А..» или нет — и на каких условиях. Что за издательство Corré [4]) (?), не знаю. Копии французск. перевода «Аллей» у меня, к сожалению, нет. В Англии и в Америке «Аллеи» выйдут, вероятно, не раньше осени.

Сердечно целую Вашу руку, дорогой друг.

Вашего Сиятельства
При всех обстоятельствах

покорный слуга Ив. Бунин.

Как только приедем в Париж (билеты уже взяты — на 23 апреля), тотчас позвоню Вам.

Надеюсь, что получили «Летописные Заметки» со статьями Вашего братца и статьей Степуна обо мне? Послал заказной бандеролью.

---

[3]) Henri Membré, ген. секретарь фр. Пен-Клуба.
[4]) Изд. Correa.

1, rue Jacques Offenbach, Paris 16e
AUT. 33-22

9 июля 1948

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Вы уезжаете — и, конечно, надолго. Беспокоюсь: где злосчастная рукопись перевода моих «Темных Аллей»? У какого-нибудь издателя или у Вас? Думаю, что лучше было бы, если бы она возвратилась ко мне до лучших времен, и потому сделайте одолжение написать мне словечко, не могу ли я взять ее у Вас, если она у Вас, или у какого-нибудь издателя, если она не у Вас? Если да, то как это сделать?

Целую Вашу руку и прошу передать мой сердечнейший привет Вашему мужу.

Ваш Ив. Бунин

Если мне придется беспокоить Вас каким-нибудь вопросом в связи с моим голландским делом, то к Вам обратится от моего имени мой хороший знакомый, адвокат Евгений Адамович Фальковский (E. Falkovsky, 7, rue de Musset, tél. AUT. 57-27), которому я поручил это дело — т. е., точнее сказать, сношение по этому делу с голландским адвокатом: сам я вполне идиот в подобных делах.

А куда именно Вы едете? Каков будет Ваш летний адрес?

—— • ——

(1949)

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Еще летом был у меня адвокат из Голландии, взявшийся вести мое дело с мошенниками-издателями голландскими, наговорил много слов, из коих следовало, что дело пошло отлично, а затем как в воду канул — до сих пор ни слуху ни духу о нем! А я никогда не мог прочесть ни его фамилии, ни города, где он живет. Помогите, дорогая, если можете! Вы его

фамилию и город знаете, — Ваш милый, добрый муж во всяком случае знает, он мне диктовал письмо к этому адвокату еще прошлой весной, — так напишите ему пожалуйста, узнайте, что значит его молчание.

Целую Вас, кланяюсь супругу.

Ваш Ив. Бунин

———— • ————

29/3-1949

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Я уже давно нашел адрес моего голландского адвоката: —

G. C. A. Oskam
Roadyhur in Net
Bynacrodir Gerechtshof
Sonsbeckcory 26. Aruhem

и давно написал ему, спросил, почему нет от него ни слуху, ни духу уже больше полгода и что сталось с моим злосчастным делом, и не получил от него ни словечка в ответ. Что же мне делать? Где Святослав Святославович? Не будет ли он опять добр узнать что-нибудь в голландском посольстве в Париже? Кланяйтесь ему.

Простите, что беспокою, и позвольте поцеловать Вас.

Ваш Ив. Бунин

———— • ————

Среда, 17 ноября

Дорогая Зинаида Алексеевна, простите пожалуйста, опять беспокою Вас: затерял Ваше письмо с адресом того, у кого перевод моих «Темных Аллей»! Ужасно боюсь, что рукопись эта пропадет, нужно взять ее у этого господина — сделайте одолжение,

черкните словечко: где он и кто он и когда его можно видеть? И еще просьба: отчаявшись **продать** «Темные Аллеи», хочу предложить некоторые рассказы из этой книги, — напр. «Натали», «Чистый понедельник» — в какой-нибудь ежемесячный журнал, в revue: посоветуйте, в какой именно обратиться?

Целую Вашу руку, поклон Вашему мужу.

Ив. Бунин

———— • ————

Воскресенье.

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Кланяюсь в ножки Вашего Сиятельства и покорнейше прошу сообщить: где Вы и где те книги (две), что я дал Вам для Бельгии? Если они у Вас, я буду спокойно ждать, когда представится случай взять их назад.

Вы говорили Вере Николаевне что-то вроде того, что я еще связан с издательством « Le Pavois » насчет издания моих «Темных Аллей»: это не так, « Le Pavois » дало мне письменное удостоверение, что я вполне свободен от контракта с ним — вообще от всего и в частности от издания у него этих несчастных «Аллей».

Сердечный привет Вашему мужу, которого я очень полюбил.

Ваш Ив. Бунин

———— • ————

6 мая

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Очень, очень тронут Вашей добротой ко мне, очень благодарю Вас! Прошу простить столь поздний ответ на Ваше письмо от 30 апр. — приехав, тотчас сильно простудился, лежал в постели. Пожалуйста передайте мою сердечную благодарность Вашему му-

жу за его разговор обо мне в голландск. посольстве и с Бр.-Парэном [5]). Рукопись перевода «Темных Аллей» взять у этого Парэна обещал мне Адамович. Как возьмет, тотчас Вас извещу.

Главное — очень хотелось бы повидаться с Вами, как приедете. Может быть, Вы уже приехали, вернулись? И может быть, будете добры позвонить мне по телефону нашей соседки, м-м Нилус — AUT. 33-32? Звонить можно до 12 (т. е. до полдня), а затем — после 2-х до 3-х и от 6 до 8 вечера.

Целую Вашу милую, энергичную руку.

Ваш Ив. Бунин.

От Пепчи-Тетьче (?) получил очень любезное письмо.

---

16 мая

Дорогая Зинаида Алексеевна, я получил французский перевод «Темных Аллей». Угодно ли Вам попытаться пристроить их где-нибудь? Если да, когда прикажете доставить Вам рукопись?

Позволяю себе ждать, что Вы известите меня запиской или по телефону (AUT. 33-32, у м-м Нилус) и целую Вашу руку.

Ваш Ив. Бунин

---

23 сент.

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Так как уже ясно, что из Ваших добрых забот устроить мои злосчастные « Sombres Allées » у французов ничего не вышло, как бы мне получить обратно рукопись перевода их? Где эта рукопись? Если у какого-нибудь издателя, попросите его вернуть ее Вам, чтобы Вера Николаевна могла заехать к Вам за ней. Черкните словечко в ответ. Целую Вашу руку и шлю сердечный поклон Вашему мужу.

Ваш Ив. Бунин

---

[5]) Brice-Parrain — из изд. Галлимар.

22 июля 1949 г.

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Я опять был очень болен — простите пожалуйста по этой причине, что не тотчас же поблагодарил Вас за Ваш подарок, за Ваш роман [6]). Прочел его с интересом и с удовольствием и надеюсь, что скоро будет следующий — с большим движением и действием.

Целую Вас и желаю успеха и всяческих благ. Поклон милому С. С.

Ваш Ив. Бунин

———•———

1, rue Jacques Offenbach
Paris 16ᵉ

6 авг. 49 г.

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Сделайте одолжение, напишите мне, где Вы? Куда Вам писать? И до какого времени? **И когда надеетесь вернуться в Париж?** Не утруждайте себя — напишите только несколько слов, на открытке. Я хочу с Вами посоветоваться — только посоветоваться — насчет одного дела, письменно или устно.

Заранее благодарю Вас и целую Вашу руку. Сердечный поклон С. С.

Ваш Ив. Бунин

---

[6]) Мой первый франц. роман « Europe et Valerius » («Европа и Валериус»), получивший в 1949 г. премию Парижа.

« Maison Russe », villa Le Tournel
Juan-les-Pins, A. M.

(Записка)
3 мая 1950 г.

Как не вижу Шаховскую
Сам не свой хожу! Тоскую!

Ив. Бунин

Кланяюсь в ножки!

—— • ——

22 июня 1950 г.

Дорогая Зинаида Алексеевна,

уж не помню твердо, что именно Вы говорили мне насчет собрания PEN-Club'a.

Кажется, оно будет 30 июня. Если да, то когда, т. е. в **каком** часу, и где?

И **что** будет на нем? И **кто?**

И можно ли мне пригласить туда некоторых своих друзей и знакомых?

Вообще хотелось бы поговорить с Вами — устно или письменно — по этому делу подробно. Будьте милостивы и ласковы как-нибудь снестись со мной.

Заранее благодарю и целую Вашу энергичную руку.

Передайте, пожалуйста, мой поклон Вашему мужу.

Ваш Ив. Бунин

Телефон (на всякий случай): AUT. 33-32 (у м-м Нилус) от 11 до 12 и от 4 до 7-8.

67, rue de Passy, Paris 16e
tél. Auteuil 7143.

Ce Vendredi, le 8 Novembre 1935

Многоуважаемая
Зинаида Алексеевна,

Иван Алексеевич и я премного благодарны Вам за Ваши хлопоты. Как хорошо, что Вы так живо откликнулись на просьбу М. Х. Туровца, и нашу общую.

Ив. Ал. просит меня передать Вам, что он благодарит Вас за внимание и принимает Ваше приглашение встретиться более интимно с писателями и поэтами по Вашему приглашению.

И я, и он вместе согласны с тем, что от лекции на франц. языке лучше совсем отказаться. Довольно, если И. А. на устроенной ему «встрече» скажет несколько более пространное слово с упоминаниями в нем о своих встречах с Толстым (25-летие со дня кончины). И 18, 19 числа равно подходят. Выберите дату сами. — Очень удачна идея совместного чествования — Pen Club La Maison d'Art. Применительно к нашим русским вкусам лучше — трапеза — завтрак или обед. Это предпочтительнее, чем более скудный «чай» или более официальный «раут». Не находите ли Вы, что в чествовании могли бы принять участие не только члены Pen Club'a или La Maison d'Art, но и другие лица, которые были бы согласны внести нужную плату. В частности я просил бы принять во внимание мое желание видеть на этом чествовании инициаторов и устроителей русской лекции, 3-4 личных знакомых Ив. Алекс. Но если бы мое желание встретило возражение, я не стал бы на нем настаивать.

Карточки: Ив. Ал. и Толстого (с автограф, на заглавн. странице «Круги чтения») я передал Mr. Gerard Dupierreux в тот же вечер, когда видел Вас. Он взял у меня Ваш адрес и телеф. и обещал вручить Вам и

то и другое. Отберите их у него, пожалуйста, и используйте, но, ради Бога, без порчи. Вещи мои, и я ими очень дорожу. Вот Вам адрес Dupierreux : 2, Av. du Congo. 480524, или Редакции « Le Soir » 177750.

Конечно было бы очень желательно, чтоб и о русской лекции — и вообще о его приезде в Брюссель были своевременно напечатаны заметки в распространенных среди русских бельгийск. газетах. Заметки о русской лекции в «Последн. Новост.» и «Возрождении» появятся в Воскресном номере (от 10. XI.).

Не откажетесь ли быть столь доброй и перевести на франц. язык (если понадобится) то небольшое **Слово,** что Ив. Ал. собирается сказать на встрече?

Возможно, что Ив. Ал. напишет статью о Толстом (вернее о встречах и впечатлениях) для « Le Soir » — Dupierreux хотел поместить ее 20-го (годовщина).

Еще раз большое Вам спасибо.

Приедем мы в субботу 16-го. Сообщу на днях (м. б. завтра) с каким именно поездом. М. б. было бы лучше, чтоб Вы сами выбрали применительно к обстоятельствам. Можно иметь в виду три поезда I тот, что отходит из Парижа в 14 ч. 15, прибытие в Брюссель в 17 ч. 32, II — из Парижа в 18.00 — прибытие в Бр. в 21.10 и наконец отъезд в 20.000 — приезд в 23.17.

Сердечно желаю Вам и нам удачи в начатом нами деле.

С искренним и почтительным
приветом Вам
покорный слуга

Павел Михайлов

P.S. Пожалуйста сноситесь почаще с Dupierreux, а его попросите поставить в известность о принятом решении Mr. Pierre Bautier. Laurens произвел на меня впечатление человека готового помочь делу.

ПМ.

———•———

Письмо это относится к приезду И. А. в Брюссель, где ему готовилась торжественная встреча.

П. Михайлов был одно время «фактотумом» Бунина. Человек образованный, прекрасно говорящий по-французски, предприимчивый, любитель хорошей еды и добрых вин. Чем он профессионально занимался — я не знаю. Вера Николаевна упрекала его за потворство слабостям Бунина.

Михаил X. Туровец — бывший доброволец, закончивший Лувенский университет, был в то время деятельным председателем Союза Русских Студентов.

Gerard Dupierreux — журналист газеты « Le Soir ».

Надписи на книгах мне подаренных

IX том собр. соч. Петрополис.
Милой Зинаиде Алексеевне
от Ив. Б.
18. XI. 35, Брюссель.

—— ● ——

Храм Солнца. Петрополис. 1936
Дорогой Зинаиде Алексеевне
Ив. Б.
Вилла Бельведер, Грасс, А. М.
20. III. 36

—— ● ——

Дорогая Зинаида Алексеевна, дайте, пожалуйста, об этой книжке заметку в « Soir ».
Иван Бунин
3. III-38, Париж

« Elle » — Ed. Stock, Paris.

—— ● ——

«Лика». Петрополис. Брюссель, 1937

Дорогая Зинаида Алексеевна, Вы сами писатель и потому хорошо знаете, как трудно без фальши и без пошлости надписать книгу или написать что-нибудь в альбом. Однажды некая княгиня Кочубей пристала ко мне со своим альбомом и я написал ей откровенно:

В Ваш альбом, шер princesse Кочубей,
Не придумаю что написать, хоть убей.

Но Вам надписываю с легкостью: чем больше узнаю Вас, тем больше люблю Вашу доброту, Ваш

прелестный смех, чудесные искры в живых, умных глазах...

Целую Вашу энергичную талантливую руку — и остаюсь

Ваш верный друг

Иван Бунин

29. 3. 1950 г. Париж

—— • ——

«Темные Аллеи»

На левой странице:

«Декамерон» написан был во время чумы. «Темные Аллеи» в годы Гитлера и Сталина — когда они старались пожирать один другого.

Ив. Бунин.

Эту книгу (самую лучшую из всех моих прочих) я переплел бы для Вас, Зинаида Алексеевна, в кожу моего сердца.

Ив. Бунин.

P.S. Впрочем, извините меня: я украл эту надпись — это Горький так надписал одну из своих книг актрисе Книппер-Чеховой.

29. 3. 1950 г. Париж

—— • ——

Избр. стихи. Париж 1929. Изд. Совр. Записки

Дорогая Зинаида Алексеевна,
я Вас обожаю.

Ив. Бунин.

7 марта 1950 г.

—— • ——

Воспоминания. Париж. Возрождение, 1950

Дорогая З. Ал., когда Ваше Сиятельство будете

писать свои «Воспоминания» не браните нас, как я тут бранюсь.

Ив. Бунин.
27. X. 1950

—— ● ——

Жизнь Арсеньева. Петрополис. 1935

Не думайте, милая Зинаида Алексеевна, что это один из портретов моей молодости: честное слово, я был такой всего лет 20 тому назад.

Ив. Бунин
29. III. 50

(И на фотографии была надпись: «не правда ли кокет»)

—— ● ——

Митина любовь.

Дорогой Зике Шаховской
с любовью и дружески.

В. Бунина
24/11-58

—— ● ——

Жизнь Бунина.

Милым нашим друзьям Малевским-Малевич на память о Бунине, которого они любили

сердечно В. Муромцева
Париж 25/X-58

—— ● ——

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ И. А. БУНИНА

Весьма прошу редакцию «Русских Новостей» дать место моему заявлению, что появившееся в некоторых французских газетах сообщение о моем отъезде в Россию лишено основания.

«Русские Новости» № 88
декабрь 1948 г.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Тише, тише, тише, век мой громкий,
За меня потоки и потомки.

Сидя как-то у меня в Брюсселе, Марина Цветаева взяла в руки «Якорь» — антологию зарубежной поэзии и, найдя в ней свои стихи, сперва поставила знак ударенья в последней строфе своего стихотворения «Заочность» на слове «для», на полях отметив «НВ! от длить», а затем приписала под стихотворением «Роландов рог» это двустишие:

Тише, тише, тише, век мой громкий!
За меня потоки и потомки... —

и подписалась Марина Цветаева. И нет, пожалуй, лучшего эпиграфа для моих воспоминаний о ней.

Узнала я имя Марины Цветаевой прочтя в 1929 году (было мне 16 лет) ее юношеское стихотворение «К вам всем, кто мне, ни в чем не знавшей меры, чужие и свои». Не лучшее, конечно, из цветаевских, но очень мне понравившееся. Затем в 1926 году в журнале «Благонамеренный», издававшемся моим братом в Брюсселе, были напечатаны ее стихотворение «Марина» и ее статья «О благодарности», и опять все понравилось. А во втором и последнем номере «Благонамеренного» Марина Цветаева в статье «Поэт о критике» высказывала горькую обиду на Георгия Адамовича, не оценившего присланного на конкурс «Звена» ее стихотворения. В сущности, по молодости лет мне трудно было разобраться кто из них прав: поэт или критик, но на Марину Цветаеву обрушились та-

кие потоки брани в зарубежных газетах, что инстинктивно обиделась я за поэта. Как-то выжили у меня среди прочих вырезок того времени две статьи, одна из «Возрождения» (№ 338) и называется «О пустоутробии и озорстве». Автора не знаю. Цитирую только одну фразу: «Но уныние вызывает у меня и то, что пишет г-жа Цветаева. И то, и другое огорчительно не потому, что бездарно, а потому что совсем не нужно». Еще хуже фельетон Александра Яблоновского «В халате», где Марина Цветаева приравнена к Вербицкой: «Она приходит в литературу в папильотках и в купальном халате, как будто в ванную комнату вошла» и т. д. И все это мне вспомнилось, когда в 1938 году, уезжая навстречу смерти в СССР, Марина Цветаева в последний раз посетила нас в Брюсселе и сказала со вздохом: «Некуда податься — выпихивает меня эмиграция».

Но об этом потом. Двойственность моей литературной жизни, с перевесом на Францию, и подвижность моего существования вносили в мои встречи с русскими писателями элемент не постоянства, а случайности. И не так уже много раз встречалась я с Мариной Цветаевой. Думаю, впервые видела я ее в начале тридцатых годов. Она была не намного старше меня, всего на 15 лет, но казалась мне отдаленной во времени и вообще совсем особой, ни на кого не похожей. Скажу даже, ни один из самых знаменитых писателей, русских или иностранных, в личном обращении не вызывал во мне такого трепета, а иногда и священного ужаса... Как будто она жила совсем в другом плане, чем все, парила на каких-то высотах, ходила по каким-то вершинам, совершенно не замечая «плена земли», тяжести быта. Стихи Пушкина

...Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон
В заботы мелочного света
Он малодушно погружен

никак не подходили Марине Цветаевой. Я никогда не видала ее погруженность «в заботы мелочного све-

та», только нагруженной ими, как она сама пишет в одном из своих писем. Руки ее штопали, чистили, мыли, душа же оставалась свободной, а ум парил в высотах. И душа ее никогда не вкушала «сладкий сон».

Поэтому и дружбы настоящей между нами не было — но было какое-то внутреннее доверие, которое ее заменяло.

В юности настолько я была взволнована, поражена стихами Цветаевой, что даже, в Брюсселе, пыталась писать **под** нее, пока не поняла, что всякое «под» — дело фальшивомонетчиков, иногда талантливых, но никогда не подлинных.

По странной случайности я никогда не видела Марину Цветаеву вместе с каким-нибудь членом ее семьи. Я встречала Сергея Ефрона без нее, а Марину Цветаеву всегда видела одну, без мужа, без сына, без дочери, поэтому она мне и предстоит всегда в предельном одиночестве и явной безземельности.

В Марине Цветаевой чувствовалась обреченность, рок тяготел над ней несомненно, но в ней ощущалась также и удивительная жизнеспособность, не в материальных вещах, конечно, но как воля, стремление к жизни, крепкие земляные корни, любовь к существованию — т. е. в ее случае, к творчеству на «земле живых». В противовес Поплавскому, она, вопреки страшной своей кончине, самоуничтоженья не искала. Рок раздавил ее, лишив возможности жить — творить.

Вижу Марину Цветаеву в ее нищенской квартире в предместье Парижа, Ванв. Стоим на кухне. Марина Цветаева почему-то варит яйца в маленькой кастрюльке и говорит мне о Райнер-Марии Рильке. Я, зачарованно, слушаю неповторимый ритм и неповторимое содержание ее речи, но вот ничего не помню о Рильке. Помню только лицо Марины Цветаевой и эти самые высоты, на которые она меня влекла с такой неудержимой силой, не зная, что следовать за ней я не могла. И обыденность, конечно, сразу отомстила за презренье к ней: вода в кастрюлечке выкипела до дна, яйца не сварились, а спеклись и лопнули, алюминий же прогорел...

Меня, конечно, удивляло, как водопадная Марина Цветаева могла любить и ценить ручейкового автора Орленка и Шантеклера, Ростана, или Анри де Ренье. (Менее удивительна была любовь Замятина к Анатолю Франсу, писателю стиля изящного и совсем не серапионовского, но ирониста, атеиста и скептика, как сам Замятин).

Думаю, что, хоть о вкусах не спорят, все же отчасти разница оценок объясняется не так разницей поколений, как эпох, в которые мы выросли.

Помню, стоял и сундук какой-то, напоминающий и Россию, и беженскую судьбу. А за окном томительно-грустный пейзаж пригорода, серость, сырость, дождь. Я замечала это, замечала ли Марина Цветаева?

Помню выступления Марины Цветаевой то в Париже, то в Брюсселе, на улице Конкорд. Зал никогда не ломился от публики, народной любовью Марина Цветаева не пользовалась — но приходили. Она в скромном, затрапезном платье, с жидковатой челкой на лбу, волосы неопределенного цвета, блондинистые, пепельные с проседью, бледное лицо, слегка желтоватое. Серебряные браслеты и перстни на рабочих руках. Глаза зеленые, но не таинственно-зеленые, не поражающие красотой, смотрят вперед, как глаза ночной птицы, ослепленной светом, Так, явно не видящая тех, кто пришел на нее посмотреть или ее послушать, Марина Цветаева читает свои стихи, громко, скандируя слова, подчеркивая ударенья, как бы бросая вызов кому-то, и нисколько не заботясь о том впечатлении, которое она производит. Я не встречала никого, из выступающих перед публикой, более свободного от желания понравиться. Так, утесом стояла Марина Цветаева на своем возвышении, бросая свои заклинания, шла напролом, рубила сплеча, а потом как-то по-мужски кланялась тем, кого продолжала не видеть, погруженная

В себя, в единоличье чувств
Камчатским медведем без льдины...

Как странны упреки, высказываемые при жизни Марины Цветаевой в неестественности ее стиля, ее

подбора слов. Она и говорила как писала, как жила, тем же ритмом, ей принадлежащим, т. е. для нее предельно естественным. Высокое косноязычие было ей отпущено, как и Мандельштаму. Я знала заумных поэтов, и русских, и иностранных, но деловые или частные письма они писали вполне понятно, обычным, бытовым языком — а вот каждое письмо Цветаевой, даже наспех набросанное, всегда «цветаевское», никогда не обычное.

В частной жизни тоже было у Марины Цветаевой полное отсутствие женского шарма, несмотря на то, что с любовью была знакома, была подвержена ее закону, способна на молниеносные ее радости и трагедии, в которые бросалась опять напролом, не разглядев объекта; в любви или дружбе наделяя простых смертных тем, что хотела видеть в них, то есть, собственной сутью. А кто мог, кто смел жить на ее крутизнах? Может быть одно из самых ярких тому примеров — ее стихотворение «Попытка ревности». С каким, вероятно, облегчением тот, думая о ком она его написала, обратился от вдохновенной Лилит к самой обыкновенной женщине... Позднее ей казалось, что нашла она родственную ей душу в молодом поэте Николае Гронском, трагическая смерть которого была для нее, увы, не последним тяжелым ударом.

В ее сношениях с другими трагическим было то, что и в зрелом возрасте она на всякого другого прожектировала свой собственный свет, как влюбленная девушка в стихах у Алексея Толстого:

То жизни луч из сердца ярко бьет
И золотит лаская без разбора
Все, что к нему случайно подойдет...

И вот всегда предлагала, даже навязывала свою дружбу, свою любовь.

Да, как жадно искала она в других (может быть и во мне) того верного, а главное, созвучного друга, своего alter ego и ясно, не находила.

За князем род, за серафимом сонм,
За каждым тысячи таких, как он...

И продолжала трубить, одновременно в безнадежности и в надежде, в Роландов рог:

Одна за всех — из всех — противу всех
Стою и шлю, закаменев от взлету
Сей громкий зов в небесные пустоты.

И сей пожар в груди — тому залог
Что некий Карл тебя услышит, Рог!

И услыхали Карлы, но посмертно...

Что помню еще о Марине Цветаевой? Того, что можно назвать «бабьим», в ней не было ни крошки. Ни хитрости, ни лукавства — и сплетничать не умела (это «бабье» присуще и многим мужчинам). Бороться и восставать, это она умела, но предавать физически не могла. Верность ее была верностью дамасской стали. Я видела ее в 1937, когда в связи с делом об убийстве троцкиста Игнатия Рейса в швейцарской санатории, Сергей Ефрон, давно уже замешанный в советской организации «Союз возвращения на родину» и приложивший руку к советизации газеты «Евразия» был разыскиваем полицией. Ефрон скрылся — Марину Цветаеву допрашивали. Она рассказала мне о допросе. Запомнился мне ее, чисто цветаевский ответ следователю, когда тот привел ей доказательство о причастности Ефрона к преступлению: « Sa bonne foi a pu être surprise, la mienne en lui reste intacte » *). И так было это, вероятно, сказано, что несмотря на бесправность ее беженского положения, Марину Цветаеву оставили сразу же в покое, очистили от подозрения в каком-либо сообщничестве.

В другом плане, но все о том же врожденном, «подкожном» ее благородстве. Марина Цветаева была

---

*) «Его доверие могло быть обманутым, мое доверие к нему непоколебимо».

вольнолюбица и по существу демократка. Помню, в Брюсселе, идя с ней в зал, где было ее выступление, мы столкнулись с двумя рабочими, несшими какие-то ящики, и сейчас же, сторонясь и отстраняя меня, уступая дорогу, Марина Цветаева громко, несколько нарочито-программно сказала: «Дорогу труду!» Но несмотря на народность свою, а может быть именно из-за нее, Марина Цветаева никогда не попыталась лягнуть демократическим копытом поверженных мира сего, на падших не наступала — уважая их несчастье и то, что в истории с ними связано, пример этому — ее статья «Открытие музея».

О чем бы она ни писала, ко всему относилась серьезно, юмора не знала, собственно, и я не помню, чтобы я когда-нибудь смеялась вместе с нею. О религии или вере в Бога мне не пришлось с ней говорить, но я была ей благодарна за то, что никогда не прочла у нее ни одной строчки, которая показалась бы мне оскорблением моей веры. Для нее — Поэт «никогда не атеист, всегда многобожец, с той только разницей, что высшие знают старшего... Большинство же и этого не знает и слепо чередуют Христа с Дионисом, не понимая, что уже сопоставление этих имен — кощунство и святотатство».

И вот этого-то святотатства Марина Цветаева никогда не совершала, инстинктивно зная сравнительность ценностей.

——— • ———

1938 год. Начало конца Марины Цветаевой. Много событий в западной Европе, свидетельницей, а иногда и участницей которых я была, с тех пор заслонили от меня предвоенное время, но, если не ошибаюсь, путь Марины Цветаевой на родину, в ту самую Россию, которая пожирает как «глупая чушка своих детей», шел через Брюссель и Варшаву.

Воспоминания, повторяю, смутные, но без каких-то оснований они бы не существовали. Мне кажется, что именно Брюссель был последней остановкой Марины перед ее возвращением в СССР.

Я сказала ей (это помню твердо) в ответ на ее слова: «Ничего не поделаешь! Выпихивает меня эмиграция!» — «Марина Ивановна, подумайте, живя за границей, вы можете еще мечтать, что где-то в России вам будет хорошо — а приехав туда и мечтать будет больше не о чем, и не на что надеяться. Ну, как вы с вашим характером, с вашей непреклонностью можете там ужиться?»

На это Марина Цветаева ответила: «Знайте одно, что и там буду с преследуемыми, а не с преследователями, с жертвами, а не с палачами». Этого она могла бы и не говорить. Я твердо знала, что на компромиссы пойти ей было физически невозможно. Гордость защищала ее от двуязычья и даже под ножом не сказала бы она похвального слова Сталину.

С каким чувством покидала Марина Цветаева Францию? В 1950 году поэтесса Алла Головина, видевшая ее в Париже перед отъездом, сказала мне, что спросила ее, не будет ли она жалеть о Франции и о Париже. Марина Цветаева ответила экспромтом:

Мне Франции нету милее страны
И мне на прощание слезы даны.
Как перлы они на ресницах висят.
Дано мне прощанье Марии Стюарт.

А дальше, что было дальше! Едва уехала Марина, как кто-то сообщил мне о гибели Сергея Ефрона, о том, что его будто бы расстреляли, ликвидировали, как обычно всех тех, кто принимает участие в преступлениях режима. И вот тут-то, видимо, был у меня какой-то адрес друзей в Варшаве, у которых Марина Цветаева должна была остановиться. Может быть телеграмму я послала Льву Гомолицкому, с которым была в переписке, но Марину Цветаеву в Варшаве ни эта весть, ни моя телеграмма не застали. Повторяю, эти данные я проверить не могу, нет возможности, но мне помнится, что было именно так.

Тише, тише, тише, век мой громкий
За меня потоки и потомки...

Так и остался, и живет во мне образ русского большого поэта, Марины Цветаевой, поэта, обреченного, как и многие другие русские поэты, на тяжелую судьбу, на мученический конец. И карарский мрамор перемалывают жернова истории...

Напечатано в «Новом Журнале» № 7
июнь 1967 г. Нью-Йорк

ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

В письмах Марины Цветаевой, печатающихся здесь, речь идет о ее французских рукописях. Они так до меня никогда и не дошли, кроме ее пушкинских переводов, любезно присланных мне в 1966 году О. Н. Вольтерс. Желание найти заработок своим ремеслом, хотя бы и на чуждом языке, вероятно, побудило М. И. к этому и, насколько мне помнится, сперва она предложила «Лэтр» издательству Галлимар в Париже, но в этом издательстве об этом не помнят.

Переводы ею Пушкина лучше многих появившихся во Франции, но, конечно, и в них отсутствует то неповторимое, цветаевское, что присуще ее русским произведениям. Думаю, что немецкая литература и поэзия были ей более сродни, чем французская, да и сама она в этом признается: «У нас с Францией никогда не было родства. Мы разные...»

Vanves (Seine), 65, Rue J.-B. Potin

18-го мая 1936 г., понедельник.

Милая Зинаида Шаховская, очень рада буду встрече в «Журналь дэ Поэт» [1] — поблагодарите Вивье [2]), — но визы нынче, 18-го, у меня еще нет. Все же надеюсь не позже пятницы быть в Брюсселе и выехав ранним поездом к поэтам поспею. Виза может быть и завтра, тогда поеду в среду, 20-го.

Очень глупо — сидеть и ждать и знать, что ничего не попишешь, — закон, а он, если захочет, меня вдребезги.

До свиданья, сердечное спасибо за память.

М. Ц.

---

1) Бельгийское изд-во и периодический журнал (директор Поль-Луи Флукэ), в котором я сотрудничала.

2) Роберт Вивье, бельг. поэт.

Открытка (два медведя в Зоологич. парке Венсен, в Париже).

Ванв, 28-го мая 1936 г.

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Дошло ли кольцо и как пришлось? [3]) Ждала с ним до последней минуты — хотелось с пальца на палец. Мои «Лэтр» через неделю-десять дней попросите у О. Н. Вольтерс, а если их еще нет, попросите, чтобы она напомнила вернуть. (Они у господина, которого зовут Люсьен, дальше не знаю). И потом **непременно** напишите впечатление [4]).

Сердечный привет от нас с Муром.

М. Ц.

(Открытка — два льва, прижавшись друг к другу).

5-го июня 1936 г., пятница.

Милая Зинаида Алексеевна, — а вот Вам другая пара, и, верьте мне на слово: они страшно похожи — по благородству и сиротству — на Бальмонта с Еленой: на Елену с Бальмонтом («О, Елена! Елена! Елена! — Ты красивая пена морей» — 35 лет назад сказано, а **живо** в нем — и посейчас).

О рукописи, хотя она на машинке, — дайте ее прочесть, по собственному прочтению, кому нужно из «Журналь де Поэт». Мне очень хочется издать ее

[3]) Присланное мне М. Ц. кольцо, серебряный перстень с кораллом, подаренный мною впоследствии Владимиру Смоленскому.

[4]) Ни одна из рукописей М. Ц. ко мне не попала. Неизвестный Люсьен не откликнулся. В 1966 г. О. Н. Вольтерс любезно прислала мне машинопись переводов Пушкина. К несчастью, я не получила их в эпоху составления небольшой юбилейной Пушкинской антологии, выпущенной мною в изд-ве «Журналь дэ Поэт» в 1937 г. при участии проф. М. Л. Гофмана, В. Вейдле, Г. Струве, с неизданными переводами ряда бельг. поэтов, В. Набокова и моих.

отдельной книжкой, но так как на книжку — мало, у меня есть еще другая однородная, физически меньшая. Та и эта дали бы томик, вроде «Проз д'Анфан» [5]). Ту вышлю.

Можно Вас попросить передать при случае прилагаемую открытку Ольге Влад. Орловой? [6]) Спасибо заранее!

М. Ц.

——— • ———

(Вторая открытка, вложенная в тот же конверт, изображающая двух белых медведей: «а вот Вам еще другая пара»).

Вам, когда Ваша редакция отчитает «Лэтр» и как-то выскажется... Словом, буду ждать Вашего ответа. И **личного** отзыва — независимо от возможностей издания о «Лэтр» как Вам «пришлось»? На 50-летнем юбилее Ходасевича видела весь Монпарнас, — и **милее, живее** всего — женщины: очевидно, по живучести в них души. Подарила Ходасевичу хорошую тетрадку «для последних стихов» — может быть — запишет, т. е. сызнова начнет писать, а то годы, — ничего, а — жаль.

Один из пишущих, узнав, что я из Брюсселя, сказал: «А Шаховская там в роли Рекамье?» Я: — «Не заметила. Она просто очень любит литературу — и очень серьезно работает». Тогда тот — перестал.

До свидания! Жду весточки. Вашим поэтам — привет.

М. Ц.

Привет Петру в овраге [7]).

---

5) «Детская проза», сборник изд. «Журналь дэ Поэт», понравившийся М. Ц.

6) Русская художница, жившая в Брюсселе, умерла после Второй мировой войны.

7) Все русские поэты и писатели, побывавшие у нас в Брюсселе, приводились в заброшенный овраг Королевского парка, где почему-то находится бюст Петра Великого. Неподалеку от него — каменное изваяние лежащей в гроте женщины.

Ванв, 22 июня 1936 г., понедельник, жара.

Милая Зинаида Алексеевна,

Оба перевода давно готовы, сейчас они на рассмотрении у Поля Буайе [8]) — моя мечта, чтобы он дал мне **весь** Пир во время Чумы, — что значит «дал»? А то, чтобы потом — **взял,** ибо **переводить** себе в тетрадку — окончательный люкс... и глупость.

Переводы **хороши,** и таковыми останутся, если даже Поль Буайе **не** одобрит. Нет ли еще чего-нибудь — для того же сборника, или для «Журналь дэ Поэт», м. б. они захотят (по прочтении Песни и Пророка) чего-нибудь пушкинского — в моей транскрипции? Отзывайтесь скорее — тогда сразу вышлю — мне всегда в фактическом осуществлении сделанного нужен стимул. Кроме того, я **скоро** уезжаю — и оттуда (пока что неизвестно откуда, все ближайшие дни буду смотреть по окрестностям) труднее будет: деревня, почты нет, почтальон потеряет и т. д.

Запросите О. Н. о моей рукописи. Дело в том, что я тому господину, который так хорошо меня слушал, которому я потом «на перемене» рассказала моего «Молодца» и которому, в конце (очень быстрых) концов, дала свои «Лэтр», он **не** пишущий, но **чудно** читающий, дело в том, что я этому господину (его зовут Люсьен, это приятель О. Н.) написала — и он мне (как столько господинов и так мало господ! в моей жизни) **не** ответил — и я больше писать не могу. Почти всегда писала **первая** и **НИКОГДА** — вторично.

Хорошо бы эти «Лэтр» — выручить, ибо человек, который может не ответить на письмо может и потерять рукопись, — кроме того, мне очень хочется, чтобы Вы и Ваше окружение их прочли. Я мечтаю, если они понравятся, набрать денег и напечатать их, с еще одной небольшой вещью как раз выйдет томик, в Вашем издательстве, а то все это **на мне лежит.**

Но той вещи не могу Вам послать раньше Вашего и общего отзыва на «Лэтр», ибо — если они не по-

---

8) Поль Буайе, профессор, известный славист.

дойдут, то и она не подойдет: **вся я** не подошла. Бывает.

Спасибо за стихотворную открыточку: чувство — близко, и вид (по-иному) — тоже.

О. Н. не пишет, на ней бремя **дома.**

На мне тоже — и может быть пущее — ибо **все** — моими руками! Я — целые дни стираю и штопаю — но это во мне немецкая механика долга, а душа — свободна и ни о чем этом не знает: еще не пришила ни одной пуговицы!

Обнимаю Вас и жду отзыва.

М. Ц.

Как только напишете, перепишу и вышлю обоих Пушкиных.

———— • ————

Moret-sur-Loing (S.-et-M.), 18, rue de la Tannerie,
chez Mme Vve Thierry

9-го июля 1936, четверг.

Милая Зинаида Алексеевна, как видите — я уже на воле, а именно: в чудном старинном городке под Фонтенбло. Быт устроен, т. е. по возможности устранен, а для души — непосредственно над головой — две химеры: Мурина и моя (поделили) — ибо живем непосредственно за церковной **спиной.** Я сюда приехала, чтобы беспрепятственно работать, т. е. переводить Пушкина — лучшие стихи, невзирая — переведены ли уже, или нет, ибо я **ни одного** перевода не знаю, да и знала бы — не слушала бы.

Хотите — чтобы я **с этим** осенью приехала в Бельгию, т. е. с вечером моих переводов — предисловие. Я **серьезно** запрашиваю. Давать заочно мои стихи мне бы не хотелось — и вот почему: у меня много вариантов, и Ваши поэты из «Журналь дэ Поэт» мне м. б. помогли бы утвердить **лучший** (беда, что один другого лучше: один — подражательно ближе, другой французски — или образно — лучше, вообще хорошо бы посоветоваться — **устно,** по горячему следу первого впечатления).

Пока сделаны: Когда могучая зима — Пророк — Для берегов отчизны дальней — К няне — и сейчас идет, именно волнами идет! Свободная стихия (К морю). Но я хочу — целый сборник: **все,** что есть лучшего. Посмотрим, что успею за лето.

Как Вы думаете, есть ли надежда приехать с этим в Брюссель, т. е. с рядом стихов и **с словом о Пушкине.** Т. е. наработаю ли я на поездку (паспорт у меня есть).

Что будет с самой книжкой — не знаю: я могу дать бесплатно несколько стихов, я вообще бы с радостью работала бесплатно — если бы государство — или к.-н. меценат мне бы оплачивал мое **скромное** существование, но пока — это мой единственный источник существования, а напечатай я пушкинский сборник в Из-ве «Журналь дэ Поэт», не только ничего не дадут, а еще приплачивать нужно, — за много месяцев непрерывного труда... Но обещанное в Ваш сборник — дам.

Дальше: всего Пира переводить **не** буду: там **лучшее** — обе песни, а остальное — для перевода мало увлекательно, ибо беспрепятственно. Я не люблю стиха без рифмы — и этого размера не люблю: скучаю.

Подумайте, пожалуйста, и ответьте — хотя бы предположительно.

Получили ли мою франц. рукопись (NB. машинную). Вот ее бы другую маленькую в из-ве издать — хотела, т. к. **продать** мне ее (при моем характере) навряд ли удастся, — у меня у французов **нет имени,** а в кредит — ничего не хочу. Я бы хотела, чтобы из-во «Журналь дэ Поэт» ее до моего приезда прочло и как-нибудь отозвалось. Тогда бы привезла ту другую — тоже **письма** (если бы Вы знали — кому и о чем!) — и получилась бы небольшая книжка, к-ую бы и предложила из-ву — на **его** условиях (кажется 600 бельг. фр. доплаты?).

Ответьте мне, пожалуйста, дорогая Зинаида Алексеевна, по обоим пунктам, если можно **не** открыткой, п. ч. в открытки я как-то не верю, слова на ветер.

Я здесь буду до середины сентября, но ответ хотела бы поскорей. Мне бы **очень** хотелось съездить в Бельгию, у Вас хороший дух, поскольку я могла почувствовать и что я безусловно увидела в факте издания «Проз д'Анфан». Так вот, та моя проза — той же породы, оттого у меня есть надежда. (Неужели тот Люсьен — ее потерял?? Запросите О. Н. — она мне ни слова больше не пишет. И Люсьен — тоже не ответил).

Итак — до письма!

Сердечный привет и пожелания хорошего — всячески — (неразборчиво. З. Ш.).

Напишите о себе и своих планах.

Выросла ли собака [9]) и как на нее смотрят кондуктора? М. б. уже — снизу??

М. Ц.

———●———

Ванв, 21-го сентября 1936 г.

Милая Зинаида Алексеевна,

Все это — недоразумение: спешно уезжая в Савойю забыла закрепить в своей памяти — или, что лучше: на бумаге — Ваш адрес, который совершенно — канул.

На днях вернувшись — разыскала: 4, рю Вашингтон, и одновременно получила Вашу недоуменную открытку — и вот — пишу: спешу снять и тень в могущей — **не** могущей! — быть у меня на Вас обиде — за что?

Я, наоборот, сохранила о нашей встрече — Петре в саду, рытье в книжках, псе, лесе — самую хорошую память, ничем не омраченную. И Ваш черный идол [10]) до сих пор мне благоприятствует.

Желаю Вам успеха с Вашим сборником и шлю самый сердечный из приветов.

М. Ц.

---

9) «Тай», мой щенок, волкодав.

10) Идол из черного дерева, привезенный мной из Африки.

ЗАМЯТИН

НАЧАЛО моего знакомства с Евгением Ивановичем, в конце 1933 года или начале 34-го, было довольно удивительно. Сразу после приезда на Запад Замятин очень активно занялся литературной, театральной и кинематографической деятельностью. С эмигрантами встречаться избегал и продолжал жить по советскому паспорту. Как-то в брюссельских газетах было сообщено, что французский актер и постановщик, Поль Оётли ставит пьесу советского писателя Замятина «Блоха» и что первые ее представления будут даны в Брюсселе (довольно часто парижские пьесы «пробуют» в Брюсселе). «Ле Руж э ле Нуар», левоватая газета, где я вела рубрику русской литературы [1]), попросила меня быть на генеральной репетиции. Театр был неважный, в улице около площади Моннэ. В сохранившемся у меня черновике моего письма к Павлу Михайловичу Иртель-Бренндорф, руководителю Цеха Поэтов в Таллине, я писала:

«Было у меня два приятных гостя. Первый — Евгений Замятин. Я познакомилась с ним на премьере его пьесы «Блоха» по Лескову. «Блоха» провалилась — тут, в Брюсселе, по крайней мере. Актеры играли отчаянно. В переводе текст стал полной чепухой, совершенно непонятной для местных жителей, да и мне, не знай я лесковской «Блохи». Замятин же оказался очень мил и умен и рассказал много интересного про Россию. Сперва он к нам не очень-то хотел приходить, боялся сношений с белогвардейцами...»

Провал «Блохи» был таков, что ее и не пытались

[1]) Тогда я стыдливо пряталась под псевдонимом Зинаида Сарана — Сарана название бывшего нашего имения в Пермской губернии.

поставить на парижской сцене. В зале было всего несколько человек и совсем случайно, по своему знакомству с актерами, был в театре двоюродный брат моего мужа, Игорь М.-М., парижанин, уже сильно офранцузившийся и с русской литературой не знакомый.

Подобно стилю «Серапионовых братьев» декорации и костюмы «Блохи» были «орнаментальны с завитушками», перед ничего не понимающей кучкой зрителей, среди всеобщей конфузии на деревянной лошадке гарцевал ген. Платов. Я пересела к Игорю к концу спектакля. Он, обернувшись к друзьям, громко сказал по-французски: «Это не пьеса, а...» — и в эту же минуту, выйдя из-за кулис, в зале показался мрачный автор. Не знаю, понял ли его Замятин, к которому я подошла и попыталась сказать что-то утешительное — что утешить его, конечно, не могло.

Передо мною был сухой, прямо держащийся человек, кажущийся моложе своих 49 лет, на русского как будто и не так похожий; но все же, если всмотреться, — несмотря на прямой пробор и некоторую неподвижность лица — определенно русский. Таких я уже видала: с довольно высокими скулами и узким, почти азиатским прорезом глаз.

Вероятно, более эмоциональный человек и не захотел бы впоследствии встречаться со свидетелем неприятного для него события, но Замятин был умен и, несмотря на свою уклончивость от сношений с эмигрантами, как-то очень быстро к нам приручился. В следующие свои приезды он уже останавливался у нас, на мансарде нашего дома, где останавливались и Владимир Сирин, и Анатолий Алферов и А. Штейгер, а бывали и многие русские странствующие писатели — Марина Цветаева, Марк Слоним, Дон-Аминадо, Тэффи.

Такую энергию и трудоспособность я мало у кого встречала, так же как редко встречала среди русских такого всесторонне образованного человека. Он брался за сценарий об Аттиле в то время — и, по странному совпадению, я как раз тогда почему-то над Атти-

лой работала в Королевской библиотеке. Ни у него, ни у меня ничего из Аттилы, впрочем, не вышло — денег не принесло.

Попыхивая трубочкой, Замятин читал нам свои повести, восхищая своим языком, а иногда и раздражая нарочитостью своего стиля.

Человек он был добрый и всегда заботился об участи друзей, оставшихся в России, в частности об Анне Ахматовой. Но не было в нем легкости, присущей добрым людям. Как будто какая-то тяжесть его давила и не юмор у него был, а сарказм, выращенный на скептицизме, а может быть и на отчаянии. Совсем не от Гоголя, как утверждают иногда, идет его родословная — в своей пошлости герои «Мертвых душ» все же смешны. Генерал Азанчеев и Ефим Барыба не смешны. Взгляд, который Замятин бросал на мир, был взглядом Салтыкова-Щедрина, писателя, которого я никогда не любила, вероятно, и знать бы его (Салтыкова) лично не захотела — а вот Замятина было за что и любить.

Человек неверующий, далекий от метафизики — даже вымолив чудо, Инок его бросается в озеро, под «пустым и страшным небом» (Знаменье) — Замятин внушал уважение не только глубокой своей порядочностью, но и очень старательно скрываемой добротой. Может быть, скрывал доброту потому, что не мог рационализировать этого чувства и верил в технику, в прогресс, в науку, в творчество, строго контролируемое и подверженное известным законам, а жизнь и собственные эмоции никаким законам, ему понятным, не повиновались, ускользали от анализа и точных определений.

В 1956 году мне передала Ир. Ал. Лабинская, что его вдова, Людмила очень хотела бы меня почему-то повидать. Но я не успела, уезжала в Москву — а потом, потом — так мы и не увиделись...

Бывая на кладбище Сент-Женевьев, грущу о том, что прах Шаляпина, Ходасевича, Замятина, Бальмонта не покоится в этой, почти русской, земле — в некрополе русской эмиграции.

ПИСЬМА Е. И. ЗАМЯТИНА

11 - XII - 1933
14, rue Raffet, Paris 16ᵉ

Милая Зинаида Алексеевна,

чтобы мне в парижской суете не забыть об Ахматовой — и чтобы Вы тоже не забыли об этом — пишу Вам сейчас же по приезде.

Ахматовой удобнее всего послать посылку по след. адресу:

Ленинград, Жуковская 29 кв. 16,
Аграфене Павловне Гроздовой.

Помимо всего прочего, это удобней для Ахматовой потому, что она больна, идти самой ей на таможню за посылкой — трудно, а тут — все за нее сделают и доставят ей. Так уже ей посылали кое-что раза два. Хорошо, если бы Вы были добры известить меня, что именно пошлете, чтобы потом проверить, все ли получено [1]).

Очень бы хотелось, чтобы это было получено в Ленинграде к празднику, а потому — не откладывайте, будьте милым рождественским St. Nicolas!

Да, еще одна мелочь: лучше (для адресата), если посылка будет отправлена от моего имени.

Второй адрес, который Вас интересовал — адрес Цветаевой: M-me Efron-Tzvetaieva, 10 rue Lazar Carnot, Clamart (Seine).

Передайте привет Вашему мужу. Надеюсь — à bientôt.

Е. Замятин

---

[1]) В 1956 году, когда я с мужем была в Москве, я поручила одному верному советскому человеку повидать Анну Ахматову и сказать, что я хотела бы с ней встретиться, упомянув, что я знала Замятина. Ахматова ответила, что не может; ее сын только что вернулся «с Севера» и она боится за него.

Париж, 16 - V - 1934

Дорогая Зинаида Алексеевна,

где Вы? В Брюсселе, в Египте, в Индии? И почему до сих пор нет Вас в Париже, куда Вы тоже как будто собирались? Получили ли мою (еще зимнюю) открытку, где я извещал Вас, что Ахматова получила посланные Вами франки?

В Париже месяца два гостил Федин — мой большой приятель. Эти месяцы, натурально, вышли увеселительными — тем более, что было много развлечений на парижских улицах, вплоть до пальбы[2]). Март - апрель был в плену у кинематографа. Только сейчас стало несколько свободных дней — и вот вспоминаю о разных далеких и близких друзьях, пишу письма.

Театральными делами заниматься было некогда. «Блоха» в Париже до следующего сезона — в состоянии анабиоза. Вероятно, будет сделан новый французский перевод — вернее, adaptation. У Вас в Брюсселе делается фламандский перевод — уже должен бы быть готов, но от переводчика я что-то давно не получал известий?

Я думаю, Вас не затруднит позвонить этому милому фламандцу, узнать у него, как обстоят дела, и о результатах Вашего разговора написать мне несколько строк? Зовут его Mr Theo Bogaerts, его телеф. 26.09.29 и 17.07.42. Адрес — 36, Stevens-Delanoy straat.

А затем — напишите о себе, о Брюсселе. Не встречаете ли там юную и полную энергии парижанку Даманскую? Непременно передайте привет Вашему мужу.

Mes amitiès.

14, rue Raffet
Paris (16e)

Е. Замятин

---

2) Происходили очередные уличные манифестации.

30 - V - 1934
14, rue Raffet, Paris 16°

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Очень рад, что Вы, наконец, в Париже. В четверг между 4 1/2 - 5 буду ждать Вас у себя на rue Raffet.

В вестибюле дома садитесь в лифт который справа, и путешествуйте до III этажа. Там — направо — моя дверь, кв. № 54.

Если бы обстоятельства изменились и что-нибудь Вам помешало, дайте знать.

Привет

Е. Замятин

---

22 - III - 1935

Милая Зинаида Алексеевна,

Весна, солнце — вызывают во мне рейзефиберный зуд, и я вспоминаю о Вашем прошлогоднем приглашении — приехать к Вам в Брюссель. Я бы мог сейчас выкроить несколько дней для такого путешествия, тем более, что у меня как будто наклевывается возможность соединить это с поездкой в Амстердам, где я думаю устроить conférence (по-французски или английски) о советском театре.

Для реализации всей этой затеи мне нужно было бы организовать вечер в Брюсселе (чтение моих вещей — новых — по-русски). Такой вечер, заказной, был устроен недавно в Париже, результатами я доволен. Не возьмете ли Вы на себя — выяснить с брюссельцами, как и когда можно там устроить вечер — вероятно в Клубе Русских [3]). В Антверпене, на это предприятие идут очень охотно — это уже выяснил там Марк Львович [4]). Если бы удалось соединить

[3]) Пропущено: Евреев.
[4]) Слоним.

Брюссель, Антверпен и Роттердам, это было бы хорошее путешествие — и некоторая заплата на Тришкин кафтан бюджета.

Будьте другом, произведите разведку на этот счет и поскорее напишите мне о результатах.

Сердечный привет Вам и Вашему мужу

Е. Замятин

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Я в Амстердаме, как видите: читаю здесь сегодня лекцию (для голландцев — по-французски!) о русском театре.

На обратном пути я бы очень хотел остановиться дня на 3 в Брюсселе — кстати, в Брюсселе мне предлагают сделать необльшой доклад о русском театре для конгресса, заседающего при Брюссельской выставке.

Кроме того, у меня идут переговоры с Кулишером[5]) об устройстве вечера чтения моих рассказов 15-го в воскресенье. Но вечер — за мой страх и риск, с тем, что предварительные на организацию (120 бельг. фр.) — на мой счет.

Прежде всего, я хочу спросить Вашего совета на этот предмет: стоит устраивать сейчас в Брюсселе такой вечер? Если Вы считаете, что стоит, то не согласитесь ли Вы помочь в распространении билетов — энергии ведь у Вас кладезь!

И, наконец: когда-то Вы говорили, что у Вас летом будет комната «для гостей». Лето, правда, сомнительное, льет осенний дождь, но может быть такая комната все же у Вас существует и я мог бы найти в ней abri на 2-3 дня? Только пожалуйста ответьте мне без церемоний, по-дружески.

Может быть — à bientôt!

Ваш Евг. Замятин.

---

[5]) Из Клуба Русских Евреев.

P.S. Жду Вашего ответа — елико возможно скорого, чтобы немедленно по получении ответа перевести нужную сумму. Если для начала понадобится Кулишеру несколько десятков франков — может быть, Вы будете добры дать ему их? Je les rembourserai immediatement [6]). Хорошо, если бы Вы повидались завтра с Кулишером (6, rue Léon Juret).

—— • ——

Париж, 30 - IX - 1935

Милая Зинаида Алексеевна,

как видите — лето окончилось и Арденнские мои планы пошли прахом... Мне удалось выбраться (как и в прошлом году) только в Belle-Vue под Парижем, т. к. я был связан с Парижем одной кинематографической работой. В Bellevue прожил 1 1/2 месяца, из которого «дачным» была только неделя.

Сейчас — на старой квартире в Париже. Если не свяжусь с новыми кинематогр. работами — может случится, что сбегу отсюда куда-ниб. на юг: засесть там в какой нибудь средиземной дыре и писать.

А Вы — все время в Брюсселе? По прежнему — эпидемия бриджа? Как князь Святослав и Ваш папа? Мой им привет.

Е. Замятин

—— • ——

1 - X - 1935

Mr. E. Zamiatine
14, rue Raffet, Paris (16^e)

Уезжая, я оставил в Ваших верхних appartements мой русско-франц. словарь, в темно-красн. переплете — изд. «Знание» — Red. Mossc. Если найдете — будьте милы, пошлите его мне.

Ваш Евг. Замятин

6) Я их сразу возмещу.

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

Отношения мои с Владиславом Ходасевичем начались с плохих отношений. В 1932 году, в еженедельной бельгийской газете «Ле Руж э ле Нуар», газете скорее левой чем правой, я давала рецензии о русских книгах (тексты у меня, к несчастью, не сохранились). В вводной статье я, конечно, с уважением отозвалась, говоря об эмигрантской литературе, о Сирине (Набокове) и непочтительно о некоторых других, в частности, о Нине Берберовой. За что немедленно и получила ядовитый нагоняй от Ходасевича (в «Возрождении»). Он негодовал, что «снисходительно похлопав по плечу Берберову» я похвалила Л. Леонова (тоже не сохранилось).

Как и почему тот инцидент был забыт — не знаю. Может быть потому, что Ходасевич хорошо относился к Сирину, Цветаевой и Смоленскому, с которыми я была в дружбе в то время, особенно с Сириным. Во всяком случае, впоследствии как-то само собой случилось, что я бывала у Владислава Фелициановича и у его жены Ольги Борисовны (племянницы Алданова), то одна, то с мужем, то с Сириным, не часто, правда, но всегда с удовольствием. Иногда встречались и в кафе на бульваре Мюра, в 16 аррондисмане, где собирались те, кто постарше.

Тщедушный, болезненный, желчный человек (Дон-Аминадо говорил, что его в России прозвали «муравьиный спирт»), пользовавшийся в молодости большим успехом у женщин (первая жена его была красавица Рындина, вышедшая впоследствии замуж за Сергея Маковского), Ходасевич был проникновенный критик и прекрасный поэт, строгий мастер, безо вся-

ких там жеманностей и лепных ненужных выражений.

Что может быть проще такого четверостишия?

Пробочка

Пробочка над крепким иодом,
Как ты скоро перетлела,
Так вот и душа незримо
Жжет и разъедает тело.

1921 г. «Тяжелая Лира»

Как-то, остановившись в Пен-Клубе в Париже, встретила я там Саула Черниховского и прочла ему переводы Ходасевича (он, может, их и знал, но забыл) еврейских поэтов, сделанные по подстрочникам, между 1915 и 1918 годами. Черниховский, прослушав свою поэму «Завет Авраама», вскричал: «Это же совсем замечательно!».

По происхождению поляк, католик — он и похоронен был в Париже по католическому обряду — Ходасевич, по собственному признанию, был усыновлен Россией молоком тульской своей кормилицы

...И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя, —
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.

. . . .

В том честном подвиге,
в том счастьи песнопений
Которому служу я в каждый миг
Учитель мой — твой чудотворный гений
И поприще — волшебный твой язык.

Родившийся в Москве, окончивший в Москве гимназию и университет, Владислав Ходасевич в Париже

звучал более «Петербургской нотой», чем все поэты Монпарнаса. Современник еще блестящего но временного Серебряного века, предчувствующего крушение русской культуры, он был верен классической эпохе нашей литературы, наиболее длящейся в веках:

И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...

Очень симптоматично было для Ходасевича выбрать Державина объектом биографии. Блестящая и умная эта книга написана с таким пониманием Державина, его эпохи и России, что, кажется, никто не мог бы лучше о них написать.

Судьба Ходасевича была не легче других эмигрантских судеб, но он хорошо запомнил державинскую оду, напоминающую о распределении счастья:

О! тщетно Счастия рука
Против естественного чина,
Безумца рядит в господина
Или в шутиху дурака.

Знал он, что тщетно, и что из успеха таланта и ума не вырастишь, но знал также, что «счастия рука» часто и надолго награждает недостойных — и несчастьем оскорблен не был.

Гроза «желторотых поэтов», большой любитель кошек (и карт) был в общении остроумнейшим собеседником и на самом деле очень внимательно следил за новыми талантами.

В сборнике «Дорога» я посвятила Ходасевичу короткое стихотворение под инициалами В. Х., на что он откликнулся письмом: «...я не знал, мне ли это, или Виктору Ховину?»

Сознаться, я снабжала иногда Владислава Фелициановича стихами, которые попадали в его особые критические статьи в газете «Возрожденье», под на-

званием «Ниже Нуля». С одним из таких поэтов-графоманов, но уже на гениально низком уровне, я познакомилась в Брюсселе. Сборник его назывался «Клуб Четырех», четыре сущности в нем сосуществовали: «корнет, поэт, эстет и аббат». Из стихов помню — увы — мало, но и этого достаточно:

«Повис Иуда на осине
Сперва весь красный, после синий...»

или

«В аду стоит ужасный чад,
В тазу кипит маркиз де Сад...»

Имя его запомнила — но оно ведь не для потомства...

Среди случайных записей за 37-ой или 38-ой год, нашла такую: «В воскресенье утром свиданье с Жеа Аугсбургом. Потом ищу Володю (Сирина). Он живет на ул. Буало. Мебели еще нет. С Володей иду к больному Ходасевичу. Ольга Борисовна нас не пускает, с Ходасевичем только что был обморок...»

Я была на квартире у Ходасевича дня за два до его смерти. Дверь открыла Ольга Борисовна: «Нельзя, он ужасно страдает».

Умер Ходасевич в госпитале, меня уже в Париже не было.

14, av. Victor Hugo
Boulogne
(Seine)

Многоуважаемая Зинаида Алексеевна,

Ваше письмо мне подали в такую минуту, когда я сидел, зарывшись в целую груду книг. В одну из них я его и положил, чтобы при ответе воспользоваться адресом, написанным в заголовке. Вы сами понимаете, что после этого я перетряс все книги и все-таки письма не нашел. Томился несколько дней, у всех встречных спрашивал Ваш адрес — и все отвечали: «есть, но дома». Один обещал прислать — не прислал. Наконец, сегодня я вспомнил, что когда Вы были у меня, я Ваш адрес записал в предназначенную для сего книгу. Дальше все уже пошло как по маслу, то-есть на поиски этой книги затратил я всего каких-нибудь четверть часа, — и вот пишу Вам, чтобы поблагодарить за внимание и просить прощения за то, что отвечаю с промедлением. В общем все это происходит оттого, что я дьявольски занят и год от году становлюсь рассеяннее.

Кулишер мне еще ничего не писал, но это не беда, потому что дело не спешное. Надеюсь, однако, что меня в Брюссель выпишут, и я прийду к Вам пить чай.

Будьте здоровы, жена моя Вам кланяется.

Ваш В. Ходасевич

2 апреля 1935.

Многоуважаемая Зинаида Алексеевна,

если очень милые стихи Ваши в «Полярной Звезде» имеют какое-нибудь отношение ко мне, то благодарю Вас сердечно. Если же они обращены, напри-

мер, к Виктору Ховину (был и есть такой человек) — мне остается только ему завидовать.

Засим — о Брюсселе. Я потому все время молчал, что гадал на кофейной гуще: поеду — не поеду. И вышло, что не поеду. Не в деньгах к сожалению дело. Беда в том, что неотвязные и неотложные дела меня держат и еще долго продержат в Париже. Смутная тень надежды у меня есть, но ни с какими лекциями я её не могу связывать, ибо не представляю себе, когда смогу вырваться. Однако, если поеду, то явлюсь к Вам — опять же если Вы будете в Брюсселе.

«Полярная Звезда» по моему — четырнадцатой величины. А по Вашему как? Ал. — очень милый человек, но редактировать журнал ему рано. Т. — тоже милый человек, но философствовать ему уже поздно.

Целую Вашу руку

В. Х.

17 мая 935.

Увы, я не могу быть у Вас сегодня, многоуважаемая Зинаида Алексеевна; внезапно и пренеприятно разболелись руки. Надо их бинтовать и сидеть дома.

Всего хорошего

Сердечно Вам преданный
В. Ходасевич

Среда

(Париж, январь 1939)

Приложение

(Перевод)

20 июля 1939 года.

Ваша посылка дошла и я хочу сразу Вас поблагодарить и выразить мое сожаление, что мы напечатаем Ходасевича только после его смерти. Набоков должен был его привести, — по крайней мере мы напечатаем его стихи в ближайшем номере с теми, которые Набоков мне передал не так давно.

Этот голос должен быть услышан. Я по этому случаю обращу внимание читателей на Вашу книгу.

Продолжайте думать о нас и присылать нам другой интересный материал. Почему не Марину Цветаеву?

Прошу Вас верить моим почтительным чувствам

Реймонд Швоб

Журнал «Иггдразилл»
Бульвар Сен-Мишель
Париж 5

Редактор «Иггдразиль» Р. Швоб очень интересовался иностранной поэзией, иностранным эпосом. Переводы стихов Ходасевича, Набоковские и мои, были напечатаны в этом журнале, как впоследствии и мой перевод русских заклинаний.

АДАМОВИЧ

В МОЛОДОСТИ «чужак» на русском Монпарнасе, Адамовича я не любила. Он меня не замечал, а я и не пыталась быть им замеченной — впрочем, сборники стихов я ему посылала, надеясь на отзыв, все равно какой, казалось все же лестным прочесть свое имя — пусть и в эмигрантской печати. Статьи же Адамовича читала с интересом, сердясь, однако, когда он небрежно и даже враждебно писал о Марине Цветаевой или о Владимире Сирине.

И сразу после войны я не пыталась с ним встретиться, но все же приходилось — то у Бунина, то, уже позднее, у Гингеров — там читала привезенные нами из Москвы стихи Пастернака из «Доктора Живаго», которые он довольно строго раскритиковал.

Раза три встречались мы и на собраниях, устраиваемых Союзом писателей и журналистов. Говорил Г. В. очень хорошо, без всяких шпаргалок и умно; в частности, на вечере, посвященном памяти Анны Ахматовой, я очень оценила, прямо сказать, его мужество, когда, говоря о поэте, который ему был дорог, посмел восстать против презрения Анны Ахматовой к эмиграции. Мы здесь никогда не упрекали ее за стихи Сталину — она нас упрекала за то, что мы избежали необходимости поклонения тирану. Да и для многих из нас упрек, что в последней войне мы находились «под защитой чуждых крыл» был необоснован. Кое-кто из нас по мере сил был в числе «чуждых крыл», охраняющих других, и из горящих городов мы никуда не эвакуировались. Сказать об этом было надо, но и трудно. Это сделал Георгий Адамович.

Да и ряды наши сильно поредели уже в 50-х годах.

Человек образованный, умный и тонкий критик, не знаю, как мог Адамович проглядеть Марину Цветаеву и Владимира Сирина во время «живого» Монпарнаса. Насколько сильно было неоправданное преследование им Набокова, лучше всего показывает история со стихами Василия Шишкова: Сирин из Берлина прислал мне два рукописных своих стихотворения в 1938 году, «Мы с тобою так верили в связь бытия» и «Отвяжись, я тебя умоляю». Оба появились затем в эмигрантской печати и оба были восторженно отмечены Адамовичем... как Шишковские.

Трудно было себе представить, чем было вызвано такое принижение, особенно Набокова, духовными и поэтическими менторами Монпарнаса. Георгий Иванов даже как-то, совсем не понятно как это могло случиться, «обмолвился» о Набокове «это, мол, сын горничной». Сирин к Монпарнасу и близко не подходил, но все же в неприятии его Адамовичем был элемент иррациональности.

Для критика, конечно, такая ошибка очень болезненна и Адамович ее годами переживал и принес повинную и Цветаевой и Набокову.

Да и вообще, если сравнить статьи Адамовича до и послевоенные, то все же заметна разница между ними. В монпарнасские времена статьи были не очень заострены, не очерчены, похвалы с нюансами, критика тоже, т. е. всякие «но», какая-то нарочитая неясность в смысле своего окончательного суждения. Нечто общее было у Адамовича с Алдановым, оба были скептики и по отношению к писательству. Как бы и это «ни к чему!» (В «Одиночество и Свобода» Чеховское Изд. Нью-Йорк 1955).

С вежливой, но иронической улыбкой посматривал Георгий Викторович на собеседника, с жаром утверждающего какую-нибудь бездоказательную истину — ни одна истина не доказуема — и затем вопрошал, с притворным удивлением: «А откуда Вы все это знаете?»

Ближе сошлись мы уже в 1968 году, когда я стала редактором «Русской Мысли». Я сразу написала Геор-

гию Викторовичу, бывшему тогда на юге, и попросила его, сотрудничавшего в «Р. М.» до меня, помочь мне сделать из этой газеты что-то, приближающееся к уровню газет расцвета эмиграции, «Возрожденья» и «Последних Новостей». Георгий Викторович ответил с готовностью, но на такую возможность смотрел пессимистически — никого, мол, не осталось. (См. письма).

Через несколько месяцев, к моей радости, признался, что ошибся и что «Р. М.» становится газетой совсем добротной.

Наша редакция помещалась в ту пору в неказистой, хоть и живописной улице Фобур Сен-Дени, на 6-м этаже без лифта. Сперва Георгий Викторович поднимался к нам и участвовал даже в новогодних банкетах, объединяющих журналистов редакции и служащих конторы и типографии, затем уже мы, Кирилл Померанцев и я, к нему спускались и шли, довольно регулярно, завтракать в ресторанчик на ул. Милосердия. Зная скромность наших финансов, Адамович отказывался от ресторана получше. Ел вообще мало, почему-то брал всегда жареную утку.

Вот тогда-то и оценила я его не раскрытые прежде мною качества. Да по правде сказать, старость и болезнь вероятно заставили его пересмотреть многое.

Он был прекрасный собеседник, с юмором и какой-то новой мудрой скромностью и поистине русский европеец, с его отменной вежливостью и тактом.

Жилось ему трудно. К. Д. Померанцев, у него бывавший, рассказал про маленькую комнатку (когда-то для прислуги) и про скромность предельную обстановки, и про одиночество того, кто в уже не баснословные, а в зарубежные годы жил окруженный целым двором почитателей. Когда я просила Георгия Викторовича навести ту или иную справку для «Р. М.» из его библиотеки, он только улыбался: «да у меня и книг-то почти нету». Но никогда не жаловался, многое о себе рассказывал, что раньше бы не рассказал, например, о картежной своей страсти. Брат ген. Адамовича, директора русского кадетского корпуса в

Югославии, Адамович происходил далеко не из бедной среды. После революции, приехав во Францию с очень любимыми им матерью и сестрой, поселились они на Лазурном берегу, где у них была еще собственная довоенная вилла. Но денег не было и мать послала Г. В. в Париж, эту виллу продать и обеспечить семье хоть на некоторое время существование. Виллу Адамович продал и... деньги проиграл в карты. До старости простить себе этого не мог.

Много тяжелого и даже темного было в его прошлом, о чем он, конечно, не говорил. Наружно Адамович казался, в конце 60-х годов, человеком, подведшим итоги и пришедшим к какой-то «серените» — sérénité, русское «безмятежность» не совсем точно передает это выражение. В ресторанчике Ле Лоррен уже не молодой Штейгер жадно слушал его рассказы о современниках и Петербурге и Петрограде, а Кирилл Померанцев, верный его друг, и я. Умное, некрасивое, несколько бабье лицо Адамовича освещалось взглядом умных глаз — вокруг ириса обрисовалась коронка более светлая, указывающая на сердечную болезнь. Говорил он негромко, тем прекрасным петербургским говором, который навсегда отошел в прошлое. Как жалеем мы, что не брали с собою магнитофона, делать записи — но, кроме помехи ресторанного шума, вряд ли бы так естественно он нам все рассказывал, если бы знал, что записывали. Еще больше определился в нем скептицизм по отношению к искусству, к критике: «Вот, кто-то там старается, мучается, пишет, поправляет — а кто-то будет судить. По какому критерию?»

Без иллюзии насчет литературной игры — и раньше жило в нем сомненье о ней, что может быть и помешало его поэтическому дару — «сей Адамович ядовитый, чей яд опаснее боа» — как писал о нем Аминадо — перестал быть ядовитым, наоборот, с благожелательностью и часто с состраданием писал добрые статьи об очень посредственных авторах. Но советы, когда их просили серьезно, давал серьезные и профессионально всегда правильные. Когда я вы-

пускала сборничек моих стихов «Перед сном», то попросила Г. В. их до выхода раскритиковать и он два раза приходил на наши свиданья к «Франсису», на пл. Альма, где в 20-х годах собирались после театров Кокто и прочие «парижские парижане» и строго и по существу указывал мне на мои оплошности. Он и написал мне к сборнику предисловие — последнее, написанное им в жизни.

И вот этот самый скептик, во всем сомневающийся, даже в важности поэзии (вспомнил Боссюэ о поэзии: «самый хорошенький из пустячков») заступился за Достоевского «да простит милосердный Бог Бунина и Алданова за все, что они о Достоевском нагородили, наговорили, да простит Набокова за "нашего отечественного Пинкертона с мистическим гарниром"», и читал Евангелие, да не просто читал и задумывался над ним, предпочитал апостола Иоанна Богослова апостолу Павлу, но не мог «остановиться на чем-то окончательном». Все же писал в Комментариях: «Христианство: беречь, беречь, это единственное, что у нас осталось» (цитирую по памяти).

Г. В. прекрасно, с такой же тонкостью как и русскую культуру, понимал французскую — знал ее истоки, древних и наимоднейших писателей и философов, любил музыку — тут мы с ним расходились, он был страстным вагнерианцем, а я нет. И вообще разговор с ним был пиром культуры.

Годы дали ему мудрую скромность. И то сказать: всякий редактор газеты или журнала знает, что кроме очень редких исключений, чем бездарнее человек, тем больше у него претензий. А вот Адамович, один из трех китов зарубежной критики 60-х годов, посылая мне статью, писал: «Если понравится, то напечатайте», исправления опечаток не требовал. Как-то, по недосмотру, цитата из Льва Толстого прошла без кавычек, как бы написанная Адамовичем. Он заметил это не без ужаса, но согласился, что «никто не заметит» и не просил поместить исправление, чтобы не усложнять работу малочисленной «Р. М.»

Одиночество его было большое, и редкие обще-

ния, особенно с молодыми, были ему радостны в эти последние годы. Молодых писателей и поэтов в Париже уже не было, зато приезжали советские поэты не старого призыва, Евтушенко, Вознесенский, и Адамович очень оживлялся от встреч с ними.

В 1972 году его пригласили частным образом в США. Мы долго обсуждали в ресторане втроем это предложение. Сердце Георгия Викторовича было в плохом состоянии. Ему и хотелось и страшно было ехать. Знал, что готовили ему там немало встреч. Но побаиваясь за него волнений и трудностей, с такой поездкой связанных, я все же взяла на себя уговаривать его поехать. Да и Кирилл Померанцев поддержал — все-таки последний триумф после долгой обыденности парижского существования не мог не быть праздником для литератора.

Адамович вернулся из Америки очень усталым, но и очень довольным — и хорошими условиями жизни, ему предоставленными, и сердечностью встреч, и проявленным к нему интересом и уважением; впрочем — хорошо разбираясь в самых различных причинах почтения, ему оказываемого. Не без юмора рассказал, как один уже не молодой писатель принес ему в гостиницу свои воспоминания о русских парижских литераторах, довольно скверно написанные, а главное всех ругающие и остро ему непонравившиеся, и попросил его, Адамовича, написать предисловие. Он отказался. После его смерти до Парижа дошли слухи, идущие от незадачливого автора, что Г. В. очень одобрил эти воспоминания и непременно хотел написать для них предисловие — только не успел. Был бы Адамович жив, он бы и этому улыбнулся.

Но вообще был тронут, скромно признаваясь, что прямо не ожидал себе такого успеха, радовался ему. Это путешествие, вероятно, было его последней радостью. Он жалел только, что по усталости не побывал в Сан-Франциско, не повидал моего брата, Вл. Иоанна.

21 февраля 1972 года мы узнали о его смерти в

Ницце, и хотя и были подготовлены к такому известию, были им горестно поражены.

Как-то, во время ресторанного нашего сиденья, Георгий Викторович рассказал, как он удивил своего доктора-француза, сказав, что не хотел бы для себя скоропостижной смерти — хотел бы иметь два-три дня, чтобы подготовиться. Умер он внезапно — но и секунды может быть достаточно душе для подготовки в мир, где время упразднено.

После его смерти мы с Кириллом Померанцевым узнали еще неизвестную сторону Георгия Викторовича: совсем вне литературного мира или мирка были у него друзья, простые, достойные семейные люди, маленький крестник и чужие дети, с которыми он любил играть. О них он никогда не говорил.

С Софьей Прегель, душеприказчиком Г. В. — Полонским (племянником Алданова), с молодой русско-французской четой, приехавшей с юга, собрались мы с К. Померанцевым в том же ресторанчике, где бывал с нами Адамович — люди все разные, но чувствующие одинаково нашу потерю.

ИЗ ПИСЕМ Г. АДАМОВИЧА

(Без даты — 1932?)

Простите, что отвечаю с опозданием. И еще простите, что пишу без обращения: я не знаю, как Вас зовут. Вы пишете, что мы встречались в Париже, в Napoli. Вероятно, я Вас узнал бы при встрече, но очевидно тогда мне имя Ваше не было известно — и сейчас я Вас «не вижу».

Вы пишете, что «стыдно и наивно просить литературный совет». Мне хочется ответить: «стыдно и наивно их давать». Je ne me sens pas qualifié, с каждым годом все менее и менее, т. к. с каждым годом все меньше хочу играть литературную комедию. Есть уровень, на котором совет полезен: когда еще вопрос идет **о грамотности,** и когда можно сказать «Читайте Пушкина или Блока». Но Вы этот уровень давно прошли. Ваши стихи литературно неуязвимы, кроме, может быть, нескольких частностей — как выбор места для особенно нужного Вам слова (я думаю, что это в технике самое важное: уметь поставить слово там, где ему нужно быть; все остальное второстепенно или может быть выучено в книгах). Между прочим, это — в прозе — замечательно у Толстого; замечали ли Вы, как у него совпадает внутренний и внешний ход фразы? Но мне кажется все-таки, что они неполно Вас «выражают». Сужу по Вашему письму: оно гораздо содержательнее, значительнее, ярче... Следовательно, стихи Вас сковывают, и Вы их не победили и не научились заставить их служить, а не управлять Вами. Именно об этом я и писал в той ста-

тье о стихах, на которую Вы ссылаетесь. Правду сказать, я не думаю, чтобы кто-нибудь мог дать Вам какое-либо **литературное** указание — скорее в росте личности и в понимании того, что в мире надо «дело делать» (как в «Дяде Ване»), а не заниматься приятным рукоделием.

Я нисколько не хочу охлаждать Ваше рвение к писанию. Наоборот. Мне кажется, у Вас к нему очень много данных. Но согласитесь — те стихи, которые Вы мне прислали, при всей их женственной (чуть-чуть слабой и бледной) прелести, ничего не «делают». Они тонут в других стихах. Не сомневаюсь, что они нужны Вам — но этого, кажется мне, мало. С многим, что Вы пишете в письме, я совершенно согласен.

Примите мой сердечный привет.

Георгий Адамович

Перечел письмо — и боюсь, что Вы меня не так поймете. Ваши стихи можно, конечно, где угодно печатать, они вполне «литература». Но к Вам можно предъявлять иные, более высокие требования.

——— ● ———

Заметка в газете «Возрождение» в 1932 г.

...Зинаида Шаховская, наоборот, типичная, характерная эмигрантка, прекрасно усвоившая общепарижский поэтический стиль. Немного иронии, немного грусти, недомолвки, намеки, остановки, именно там где ждешь развития темы: рецепт знаком. Но пользуется им Шаховская с чутьем, находчивостью и вкусом.

Есть в ее «Дороге», между прочим, строки, отчасти объясняющие, почему в стихах молодых эмигрантских поэтов так редко упоминается имя, которое, казалось бы, должно все у них заполнить:

О тебе кричать, или молчать —
Верное отсутствует решенье,
И мое неправедное пенье
Будет наказанье ожидать.

О тебе кричать... (Тебя забыть).
Это все, что нам теперь осталось,
И еще — осталась в сердце жалость,
Позволяющая нам тебя любить.

Конечно, здесь «ты» — Россия.

Георгий Адамович

***

А в 1970 году Георгий Адамович написал свое последнее в жизни предисловие и оно было к моему сборнику стихов «Перед Сном», изданному мной после войны, 35 лет спустя после первых двух, о которых он упоминал в своих рецензиях и заключил так:

...Зинаида Шаховская пишет стихи довольно давно и считать ее новым пришельцем в нашей поэзии нет оснований. Некоторые ее стихотворения не могли не заставить обратить на нее внимание и запомнить ее имя еще в те далекие времена, когда поэтов было в зарубежии множество, когда кипели споры, возникали и исчезали школы, направления, течения, «ноты» и казалось, оживлению этому конца не предвидится. Шаховская в тогдашней поэтической среде не удержалась, перешла во французскую литературу, в русской напоминала о себе редко и скупо. Но пожалуй только теперь она, как говорится, «нашла себя», а значит и мы нашли русского поэта, облик которого оставался до сих пор не вполне ясен. Что будет дальше, «покажет будущее», как писал Толстой в конце «Воскресения». Да, проблематическое, неведомое будущее. Но и настоящее чем то нас обогатило, как будто в постепенно и неуклонно умолкающий наш здешний

лирический оркестр неожиданно вступила одна из скрипок с новой, еще незнакомой мелодией, той, которая поручена ей одной, никому другому.

Георгий Адамович

4, avenue Emilia
chez Mme Heyligers
NICE

6 сентября 1968

Дорогая Зинаида Алексеевна

(простите, если ошибаюсь в Вашем отчестве. У меня теперь такая память, что скоро я забуду, как зовут меня самого).

Спасибо за письмо. О том, что Вы будете редактором «Р. М.» мне довольно давно уже сообщил Вейнбаум («Нов. Р. Слово»). От души желаю Вам успеха и был бы искренне рад, если бы Вам удалось сделать то, о чем Вы мечтаете: поднять газету до уровня «Посл. Новостей» или былого «Возрождения». Но правду сказать, это представляется мне несбыточным. Никого не осталось, некому писать — кроме трех четырех человек. «Иных уж нет, а те далече».

Надеяться, значит, надо только на Вашу энергию и чутье в приискании сотрудников.

Шлю сердечный привет, лучшие пожелания.

Искренне Ваш

Г. Адамович.

Ницца
20 февр. 1971

Дорогая Зинаида Алексеевна

Вот «Беседа с Кшесинской», о которой я Вам говорил.

Вы написали очень интересную, «страстную» статью о Пушкине, и в сущности неожиданную. Но отчего Вы начали ее словами, что он — «наше все»? Кажется, это сказал Ан. Григорьев, а по моему (да и по Вашему) в том то и особенность Пушкина, что он — один, особенный, единственный. «Пушкин в нашей литературе царствует, но не управляет»: простите, цитирую самого себя. Сразу после его смерти Лермонтов и Гоголь, при всем их преклонении взяли его в штыки. А Достоевский в своей речи так много напутал, что от Пушкина ничего в сущности и не осталось.

Ну, долго об этом говорить, а договориться и невозможно. Все таки Лермонтов иногда, в редчайшие моменты, идет на 1/100000 долю напева и вдохновения дольше Пушкина, хотя пишет стихи хуже.

Шлю сердечный привет. Простите за болтовню.

Искренне Ваш
Г. Адамович

———•———

Это письмо относится к моей статье «Веселое имя Пушкина», помещенной в «Р. М.» от 18 февраля 1971 г. В ней я писала, что Пушкин, с его динамичностью, его гармоничностью, *светлой* грустью, является как бы антитезой русского сумрачного, тяжелого человека и что «сыны русского хаоса» любят его как недосягаемый идеал.

28/11-71
(Нью-Йорк)

Дорогая Зинаида Алексеевна

Читаю «Русскую Мысль» (спасибо, что мне ее сюда пересылают!) — и вспоминаю ее редактора. Здесь многие признают, что парижская газета всегда интересна, что в ней всегда есть что читать и жаль только то, что доходит она сюда в очень ограниченном количестве экземпляров. Но это вина самих русских американцев. Провожу время довольно суетливо, надеюсь вскоре водвориться в Париж и в сущности буду этому очень рад. Надеюсь, все и у Вас лично, и в редакции вполне благополучно и шлю лучшие пожелания.

Искренне Ваш

Г. Адамович

P. S. Мне очень понравилось Ваше описание редакционной ambiance: «Померанцев (не помню, что делает), Софья Юльевна болеет, Р. обижается...»

« The Drake »
440 Park Avenue
New York 100 22

11 дек. 1971

Дорогая Зинаида Алексеевна

Спасибо за письмо, спасибо за дружескую заметку в газете о моем пребывании в США, а вместе с благодарностью при сем статья заметка Газданова из сегодняшнего № «Н. Р. С.». Поступите с ней, **как Вам угодно.** Я не Р., и нисколько не обижусь, если Вы ее выбросите в корзинку. Но уже бывали случаи, когда я помещал то же самое в «Р. М.» и в «Н. Р. С.», а доходит это «Н. Р. С.» в Европу с таким опо-

зданием, что никто перепечатки и не замечает. Так что — это на Ваше редакторское усмотрение! Если Вы статью поместите, по моему не следует и указывать, что она перепечатана.

Пришлю через несколько дней еще статью о Кшесинской. Я хорошо помню ее на сцене и довольно часто бывал у нее в Париже. Но для «Н. Р. С.» я напишу о ней иначе и другое.

А когда я вернусь, в точности еще не знаю. Надеюсь, вскоре. Но зависит это от моего «приглашателя», который находится по делам в Москве, телефонирует мне оттуда и просит подождать его возвращения, между 15 и 20 декабря. Ждать я буду, но в числах не уверен.

Шлю Вам, дорогая Зинаида Алексеевна, лучшие пожелания, а Святославу Святославовичу искренний привет.

Ваш Г. Адамович

«Огненный Ангел» я читал в ранней юности и тогда мне казалось, что это замечательная книга. Не знаю, какое впечатление было бы теперь. Брюсов ведь вообще поблек, может быть и этот роман.

Б. К. ЗАЙЦЕВ

Первые редкие встречи до войны с Борисом Константиновичем и Верой Алексеевной бывали у меня или после литургии у церковной ограды, или на премьерах русских пьес и балетов, да еще на писательских балах.

На первый взгляд все тут было другое и даже обратное, чем у Буниных. Там вечно кипящий Иван Алексеевич, а Вера Николаевна образ безмятежности, — у Зайцевых тишина идет от писателя, а Вера Алексеевна вулкан, поток и знаток крепких русских выражений. Но близко я их в те времена не знала и так как-то случилось, что только в начале пятидесятых годов зашла я их навестить.

Жили Зайцевы тогда в Булони, жизнерадостная и подвижная Вера Алексеевна лежала парализованная, Борис Константинович с истинным христианским смирением нес подвиг любви и терпенья. Нечто подвижническое было тогда в нем. Писать же не переставал, и в скромной комнате, где перед иконами сияла лампада, работал он, окруженный книгами и фотографиями. Нужды не было, и дочь, и зять об этом позаботились, но все, что пришлось перенести Борису Константиновичу за эти долгие месяцы, ухаживая за своей некогда веселой, говорливой, пылкой, теперь беспомощной женой, можно себе представить. Ропота не было, была одна покорность воле Божией и верность любви.

Вера Алексеевна умерла вскоре после того, как Зайцевы переехали в прелестный особнячок в Пасси, нанятый позднее Соллогубами. Дом этот стал скоро маяком литературной, да и общественной жизни рус-

ского Парижа, цвело в нем истинное московское радушие. Там без конфликтов встречались три поколения. Внуки Бориса Константиновича были, да и остались деятельными в РСХД. Их друзья, друзья их родителей и современники Бориса Константиновича частенько наполняли этот примечательный дом, где Духа не угасали.

Прекрасен был закат честнейшего русского писателя, ставшего к этому времени патриархом русской литературы, старейшим ее представителем и в Зарубежье, и в СССР, где им все больше интересовались.

Борис Константинович продолжал писать. Писал и в «Русской Мысли», длинные отрывки из своих воспоминаний, почти до дня своей кончины. С радостью принимал он у себя приезжих советских писателей — Паустовского и более молодых, ему менее понятных. Председательствовал, и сам выступал, на собраниях Писателей и Журналистов в зале русской консерватории, ум оставался ясным, чтение четким. И несмотря на свой преклонный возраст, был чрезвычайно чувствителен к тому, что о нем и о его творчестве писали — слабость, присущая большинству литераторов.

Борис Константинович так себя мыслил «русским», что не без некоторого удовлетворения замечал иногда, что, почти полвека живя во Франции, по-французски так и не говорил. Знал все же достаточно, чтобы переводить такого стилистически трудного писателя, как Флобер, а вот говорить не старался. Конечно, новые формы литературы, новые темы ее остались Зайцеву чужды. И тут, лично моя позиция была затруднительна. Покойный редактор «Р. М.», С. А. Водов, интересуясь эмиграционными делами, политикой и церковными вопросами, к литературе художественной интереса не имея, поручил Борису Константиновичу вести этот отдел в газете. Понятно, продолжал он его вести и когда я стала ее редактором. Так и приходилось мне, вопреки моему суждению, печатать рассказы, а особенно стихи его «протеже» и протаскивать «конфликтно» кое-какой ли-

рический или литературный материал. Маститый цензор был очень внимателен и иногда мне звонил: «Что-то мне кажется, что эти стихи прошли без моей "визы"».

Почерк его оставался до конца четким и конечно, вопреки нашим правилам, мы посылали ему его гранки для корректуры.

Москвич и туляк, Зайцев из всех чужих стран любил как будто только Италию, любил нежно. Она была связана с его молодостью, да и вообще русскому человеку Италия, даже и нищая — страна ослепительная, по солнцу и улыбкам, как бы антитеза сумрачности и тяжести нашей родной земли. Для меня казалась, да и кажется, загадкой любовь Бориса Константиновича к Данте и интерес его к Флоберу. Трудно себе вообразить более несходные человеческие личности. Думаю, что Зайцев и представить не мог себе Ада, а представив — не нашел бы, кого в него поместить. Что же касается Флобера (Б. К. перевел его «Искушение Св. Антония»), то холодно-техническое совершенство его стиля, равнодушие его к вопросам морали тоже кажутся далекими от художественных и духовных задач Зайцева. Правда и то, что и Зайцев, и Флобер писали об антигероях. Борис Константинович, в нешумных своих персонажах улавливал какой-то свет. Ничего серафического во Флобере нет, он даже был не чужд и садизму. Не говоря уже о том, что в «Саламбо» с большим вкусом описаны всякие пытки — дети, сожженные в статуе Молоха и т. д. — но и мало известное его описание боен в Бретани — реалистично до отвратительности. Борис Константинович, если бы ему пришлось присутствовать при таких сценах, вероятно, упал бы в обморок и стал вегетарианцем — Флобер, проведший там часы, описывает льющуюся кровь с упоением.

Стилистически, Флобер употреблял очень тщательно выбранные редкие слова — что тоже было не в линии Зайцева.

Гораздо понятнее его любовь к Жуковскому и Чехову, «который Москвой крещен», к Тургеневу —

о них он и написал прекрасные художественные биографии.

Не скрою, что безмятежность и добродетели Зайцева меня, «мятежную», как-то смущали, но с ним, конечно, было гораздо «уютнее», чем с Буниным или Ремизовым. Осуждения его были мягкие, голос тихий и благожелательный.

80-летие его мы отпраздновали во французском Пен-Клубе — одна его книга. «Золотой Узор», была издана по-французски в изд. Ашет.

После приема Борис Константинович написал мне по-французски очень доброе письмо, выражая свою благодарность, адресовав его «господину Жаку Круазе»; не знаю — умышленно, или он действительно не знал, что «Жак Круазе» — Зинаида Шаховская.

А 85-летие было отпраздновано уже совсем по-русски, банкетом в Доме Русского Воина, в залах, переполненных до отказа друзьями и почитателями. Были тут и иностранные современники, и старые друзья Бориса Константиновича. Проф. Пьер Паскаль, и проф. Ле Гатто — не иностранцы, ибо «Россией крещены» по долголетней работе о ней, один во Франции, другой в Италии — и французские литературоведы, и Вера Греч, и Павлов, и Софья Прегель — всех не перечислишь. Речей тоже было много, не без русской велеречивости и былинного эпоса. И вот тут-то — как редактор «Русской Мысли» я сидела направо от юбиляра — пока один из лирических панегириков был нами выслушиваем, «о безмятежной брачной жизни и серафической незлобивости юбиляра», Борис Константинович, со вкусом попивавший всегда им ценимое красное винцо, мне прошептал: «Ну, положим, всякое бывало, нередко с Верой и ссорились», а затем: «еще как приходилось сердиться», что меня восхитило. Зайцев отказывался быть «нечеловеческим человеком».

Новейших писателей и поэтов, зарубежных и живущих в СССР, он понять не мог, да и не старался, творчество их казалось ему нарочитым, надуманным. И мысли их, и стиль были ему чужды. Сам Зайцев

считал себя импрессионистом, все же придавая этому определению иное значение, мне кажется, чем французские импрессионисты.

В тихости его была и непреклонность, оттуда его размолвка с Бердяевым — который, впрочем, судя по тому, что Б. К. написал, никогда не был ему близким, — и с Буниным, с которым его связывало, вопреки разности темперамента, их общее русское прошлое и верная дружба их жен — Веры Зайцевой и Веры Буниной.

Победа СССР в 1945 г. была для Зайцева не русской победой, т. к. не могла послужить возрождению России и освобождению ее народа, и всякое заигрывание или кокетничанье с советскими властями было для него неприемлемо. Все же о своих современниках пишет он в своих воспоминаниях мягко, хотя своих позиций не сдает.

Незадолго до смерти Б. К., Соллогубы переехали с ним из особнячка на новую квартиру. Он с сожалением расстался с прежним домом и садиком, где по праздникам пили чай с гостями. Но и новая комната сразу стала его «писательской», и попрежнему приходили самые разные люди, с таким радушием им принимаемые. «Последний человек, знавший живого Чехова» — сказало о нем французское радио-телевидение.

Тихие блики Голубой Звезды сияют над творчеством и над жизнью Бориса Константиновича. Из всех, о ком я пишу в этой книге, только ему Бог послал ясную, мирную старость, окруженную любовью близких. Умер он блаженно, без страданий, уже в беспамятстве, что-то напевая, Господом вознагражденный за то, что смолоду вверил Ему свою жизнь.

ТЭФФИ

Не могу сказать, чтобы я была особенно близка с Надеждой Александровной Тэффи, более тридцати лет разницы в возрасте нас разделяло, но я бывала у нее, случалось — помогала ей в устройстве ее лекций в Бельгии, а главное — всегда считала ее прекрасной писательницей и очень интересным человеком, и радовалась каждой нашей встрече.

Тэффи, в сущности, была единственной «дамой» литературного Парижа — не «литературной дамой», а очаровательной, хорошо воспитанной и «столичной» дамой. Может быть, несколько суховатая и чрезвычайно умная, Тэффи, мне кажется, не интересовалась политикой или мировыми вопросами. Интересовали ее человеческие типы, дети и животные, но трагическую участь всего живущего она не только понимала, но и чувствовала ее на своем собственном, прежде всего, опыте.

Сатирики и юмористы (за исключением Мятлева) почти все ипохондрики, от Гоголя до Дон Аминадо и Зощенко. Как все они, Тэффи смеялась «горьким смехом», без злобы, но с предельной зоркостью отмечая, и для наглядности их увеличивая, нелепости быта и людские слабости.

Когда я ее знала, ее здоровье уже требовало болеутоляющих средств, а иногда и возбуждающих, и мне приходилось ее видеть то блестящей и остроумной, то совершенно потухшей, превозмогающей себя и жизнь. И вдруг, оттого что кто-то находился рядом с ней, таившаяся в ней искра вспыхивала снова и фейерверком рассыпались меткие замечания, остроумные рассказы, живые воспоминания.

Очень любила Н. А. балы и выходы, следила за своей внешностью, одевалась, как могла, элегантно, я никогда не видела ее не причесанной и не подтянутой.

Помню наш с ней анекдотический выход в какой-то русско-цыганский кабачок. Был в Париже (и где он не был!) милейший антрепренер Рогнедов (звучное имя взял он себе в России в молодости, влюбившись в актрису, которая играла Рогнеду). Что-то было в нем от персонажей Семена Юшкевича и, наряду с антрепренерской внешностью, какая-то приятная детскость. Между прочим, возил он по всему свету и труппу русских лилипутов Григория Ратова. Как-то, когда я сидела у Тэффи, явился Рогнедов и решил нас повеселить шампанским и цыганщиной. Деньги у него иногда были, иногда их не было, в общем — пригласил. Н. А. приоделась и мы отправились. Народу в «Мон Таборе» было не много и, пока нас подводили к столику, был слышен шепот задержавшегося позади Рогнедова: «Я вам привел саму Тэффи, да еще и Шаховскую, ну, явно княгиню!». На этот раз безденежному Рогнедову мы были предлогом для дарового угощения. Не знаю, написала ли об этом Тэффи, но когда подвижной Рогнедов сорвался со стула и помчался кому-то что-то сказать, Н. А., чуть-чуть улыбаясь, промолвила: «Ну вот и хорошо, что и нам удалось развлечь нашего приятеля, да и лестно, значит, и мы чего-то стоим».

Почему-то у меня сохранилась только одна книга Тэффи — «Ведьма», и вот не так давно пришел из Москвы первый изданный в СССР сборник ее рассказов, тщательно подобранных О. Михайловым и с его вводной статьей (блещущей исключительно своими передержками).

Из-за отсутствия материала, не помню, были ли напечатаны рассказы, о которых я слышала от самой Тэффи, на авеню де Версай в тридцатых годах. Какая она была рассказчица, как умела она мимикой оживить рассказ, взять нужный акцент, воплощая то

актрису, то девочку, то бабу, то шофера такси, говоря и за умного, и за глупого, и за бедного, и за богатого.

Вот, например, о шапке-невидимке:

Едет старуха деревенская в поезде и подходит к ней кондуктор: «Давай, бабушка, твой билет», а она сидит, зажмурив глаза и нахлобучив засаленную шапку по брови. «Давай билет, слышишь?» Глаз приоткрывается: «Аль ты меня видишь?» — «Ясно, вижу!» — «Вот ведь сволочь парень-то был! Как входила я на станцию, так подвернулся мне такой, говорит: ты, бабка, куда едешь? Я и говорю — в Сызрань. — Да билет-то ведь дорого стоит. — И то, батюшка, дорого. — Так я помогу тебе, вишь, за полцены ушанку уступлю, а она у меня шапка-невидимка. Сядешь и доедешь невидимкой до самой Сызрани. Обожди, хороший человек, может, я ее не так повернула, погодь маненько, я ее задом наперед, так перед тобой и скроюсь».

Или еще о городской нянюшке, никогда не имевшей дела с животными и вышедшей прогулять хозяйскую собачку. Возвращается и говорит умиленно: «Но уж такая собачка, барыня, такая собачка! Как подошла к фонарю, так, верите ли, ножку подняла, а ведь и то ученая, ножку-то подняла».

Или как Тэффи и зашедшая к ней, кажется, Рощина-Инсарова собирались чайку попить, и что из этого вышло, из-за их рассеянности... Но как своими словами передать не только слова Тэффи, но ее серые острые глаза, в которых отражаются персонажи, ее выразительный голос, слышанный мною сорок лет тому назад? Не было тогда этих магических кассет, теперь всюду распространенных, и боюсь, что не записана речь Тэффи никем и никогда — и это большая потеря.

Хотя Тэффи, видимо, очень дорожила своими стихами — может быть бывшими «отдушинами» в ее «юмористических» писаниях и выдававшими ее, в юморе многим незаметный, пессимизм — поэтического дара у нее не было и в стихах обнаруживались иногда ошибки вкуса, чуждые ее рассказам. Проза же ее на высоком уровне и никак нельзя назвать ее «дам-

ской», подразумевая под дамской то, чем грешат иногда и мужчины: излишним пафосом и «поэтичностью». Чего стоит одно описание пляски на посиделках в хате юге-западного края!

«Девки тесно уселись на лавке вокруг стола, красные, потные, безбровые, вертят, перебирают тряпичные цветы и ленты и орут дико, во всю мочь здорового рабочего тела, гукающую песню. Вдруг девки замолчали сразу, точно подавились, и у самых дверей заскрипела простуженным петухом скрипка, и за ней, спеша и догоняя, заскакал бубен...» Лучше всех пляшет совсем не «долговязый парень, да две девки плоскогрудые, с выпяченными животами», а старая бабка — «вся пляска в ней, а не в нем. Он кренделяет лапотными ногами, а у ней каждая жилка живет, каждая косточка играет, каждая кровиночка переливается».

Да, большой мастер слова была Тэффи и горький знаток человека — зоркость редко дар радости, и спасибо ей за то, что, описывая соотечественников, она им же самим позволяла улыбнуться над собой, а не топила их суровым обличеньем. Случалось, учила она нас и мудрости, об этом не заботясь. Где-то был напечатан ее рассказ о том, как в константинопольском подвале играли в винт, или бридж, бывший генерал, бывший губернатор, сама рассказчица и кто-то еще, и в перерыве вдруг начали вспоминать горьковских босяков. Ужасались бедности персонажей «На дне» — и вдруг кто-то, оглянувшись, заметил с изумлением: «Да ведь и мы, как будто, на дне». Если вдуматься в эту вещь Тэффи, то ведь совсем не беспросветна она, раз человек «на дне» — в смысле бедности и бесправия — может этого не замечать.

Если и смешон несколько русский генерал, обращающийся с площади Согласия с вопросом миру: «Ке фер, фер-то ке?» — то только очень злой человек не почувствует, что значит для него потеря всего, чем он жил.

Все же оказался юмор Тэффи не таким уже долговечным. Перечитывая в семидесятых годах ее кни-

ги, улыбаешься редко, хотя все еще стоит особый городок, обыватели которого живут «как собаки на Сене» — но, видно, фольклор первых десятилетий эмиграции уже изжит. Тонкая грустная насмешливость Тэффи над русско-парижским бытом показалась советским критикам обличеньем «буржуазной» эмиграции и поэтому выпустили они в 1971 году книгу, старательно подобрав рассказы, показывающие безвыходность ее положения. В предисловии своем О. Михайлов подчеркивает тяжелую участь Тэффи — она все же была намного легче, скажем, участи Зощенко. Ни репрессировать ее, ни реабилитировать никому не пришлось.

ПИСЬМА ТЭФФИ

Милый друг

Очень тронута Вашим вниманием. Ваш прелестный букет пришел раньше всех, рано утром.

Очень ему радовалась за его красоту и за то, что он как бы залог наших милых будущих встреч.

Крепко целую и благодарю

Ваша
Тэффи

———— • ————

Дорогая и очаровательная
Зинаида Алексеевна

Наднях вернулась в Париж из дальних странствий. Вчера, разбирая корреспонденцию, нашла Ваш милый отзыв о моей «Ведьме».

Бесконечно тронута Вашим вниманием, сердечно благодарю.

Что у Вас делается в Брюсселе? Не загляните-ли к нам в Париж? Очень бы хотелось повидать Вас снова.

Мне советуют повторить мой вечер (на котором Вы присутствовали) в Брюсселе. Как Вы думаете — можно это сделать и стоит ли того? М. О. Цетлин очень к этому склонен. Я его называю «мой апологет».

У нас сезон еще не начался. Все еще живут и делятся воспоминаниями лета. Мне это не интересно, т. ч. я наш monde еще вижу редко.

Крепко благодарю и еще крепче целую.

Ваша всегда
Тэффи

———— • ————

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Вы страшно милая, что заботитесь обо мне.

Да, в январе мне было бы удобно приехать в Брюссель.

Но одной заполнить весь вечер было бы трудно. Поэтому попробую предложить М. О. Цетлину приехать со мной и повторить свою «Апологию», читанную на моем вечере в Париже. Ему, конечно, платить не надо, должен сделать это для меня.

Этот клуб приглашал меня года четыре тому назад, но я тогда не могла приехать и отказалась за несколько дней до вечера. Тогда они обещали выручку около 1000 фр.

На счет Pen club'а — думаю, что не стоит того. Отдельных книг на франц. языке у меня не выходило. Есть кое какие, малоинтересные рассказы в разных журналах. «Чествоваться» вообще терпеть не могу.

Еще благодарю Вас, дорогой друг и за это предложение, но лучше ограничимся одним вечером. А с Цетлиным я переговорю, иначе — боюсь, что не осилю.

В ноябре устраивают 2 моих вечера в Лондоне. Но там помогут актеры, кот. сыграют две моих миниатюры.

Ваша
Тэффи

---

5 ноября

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Как обстоят наши дела с вечером? Дело в том, что берлинский вечер переносится на январь т. ч. надо бы организовать брюссельский в самом конце января.

Кроме того я хотела сказать следующее: надо бы, чтобы клуб пригласил Мих. Ос. Цетлина (59, rue Nicolo) прочесть обо мне то, что он читал на моем вечере. Конечно это будет бесплатно. Я с ним уже говорила и он в принципе согласен, но мне кажется,

что это приглашение является необходимою формальностью. Ему неудобно несмотря на всю его bonne volonté выступить неприглашенным.

Теперь вот еще какая мысль И. Бунаков говорил мне, что обычно тот же клуб устраивает повторение того же вечера на другой день в Антверпене, где также есть русская публика. Может быть клуб это устроит?

Пожалуйста, дорогая Зинаида Алексеевна, ответьте мне на эти вопросы.

Я еще ничего не получала от секретаря клуба, о кот. Вы мне писали. Необходимо установить даты.

Целую Вас, дорогая и жду вестей.

Ваша
Тэффи

——— • ———

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Брюссель трагически молчит, а Берлин трагически вопит: «Когда вы сможете приехать?»

Необходимо теперь же установить дату. Необходимо, как я уже Вас просила, предложить Мих. Ос. Цетлину приехать. Я не хочу злоупотреблять Вашей любезностью и очень прошу передать все это нудное дело в опытные руки секретаря Евр. Клуба, о кот. Вы мне писали.

Числа 22-го я уже уезжаю в Лондон и хотела бы до моего отъезда выяснить всё. Цетлин в Лондоне и я бы там с ним поговорила.

Простите, что надоедаю, но Берлин надоедает в свою очередь и я не знаю, что ему ответить. Словом — давайте мне скорее эту секретаршу и купите этой ценой себе свободу.

Крепко целую

Ваша
Тэффи

А когда же Вы к нам в Париж?

——— • ———

Дорогая Зинаида Алексеевна!

Сердечно благодарю за память. Меня очень тронуло Ваше внимание.

Теперь буду Вас ждать в Париже.

Я была в Брюсселе совсем кислая. Такая же, если не кислее была и в Лондоне. Мне чужие климаты не подходят. Обещаю в Париже развлекать Вас и веселить, а пока крепко целую и прошу передать сердечный привет всем Вашим.

Искренно Ваша
Тэффи

Наконец то, дорогая Зинаида Алексеевна, захотелось Вам меня видеть!

Я в Брюсселе была такая сонная и кислая (не могла ночью спать), что даже удивляюсь как Вы так захотели меня видеть!

Жду Вас обоих, как Вы обещали, в пятницу к 5 часам.

А пока целую
Ваша Тэффи

ЛЕОНИД ЗУРОВ

ЛЕНЮ Зурова все любили. Да и трудно было его не любить. На Монпарнасе Леонид Зуров предстал как добрый русский молодец, высокий, румяный, сероглазый, русый, как бы прямо вступивший из древнего Пскова на парижский асфальт. Говорил он спокойно и благожелательно, в литературных склоках и интригах не участвовал, спокойно как будто шел своей дорогой, не похожей на монпарнасскую. В сущности, был по своему литературному облику явлением единственным — отнюдь не модернистом, а продолжателем, как говорили, бунинской линии.

Это было не совсем так. Страстность и нетерпимость Бунина, творческое его богатство у Зурова отсутствовали, но была у него такая же утробная любовь к старой России, особенно к истории печерского края, такое же бережное отношение к русскому языку. К чужим мирам Зуров интереса не чувствовал — тогда как Бунин воспринимал и готические соборы, и пейзажи Прованса, и любовь цейлонского рикши, и смерть господина из Сан-Франциско, и древность Иудеи, с острой прозорливостью.

Первая книга Зурова восхитила Бунина, увидевшего в молодом писателе «художника слова», кого-то совсем несхожего с литературной молодежью тех лет. По поводу книги «Отчина», которая появилась в 1928 году, после длительной работы Зурова над архивами Псково-Печерской обители, Бунин написал:

«Подлинный, настоящий художественный талант — именно художественный, а не литературный только, как это чаще всего бывает, много, по-моему, обещающий при всей своей молодости... Он мне пишет,

что «Отчину» он писал «по обещанью»... Уже одно это прекрасно. Но и прекрасна сама книжка — на нее надо обратить особое внимание».

Так и попал Зуров в бунинскую орбиту, много ему давшую, но и принесшую ему много тяжелого. Как Злобин к Мережковским, Зуров до смерти был прикован к Буниным и уйти ему, и в переносном, и в прямом смысле слова, было некуда, хотя он как будто бы и пытался.

Я встречала его в Париже, кажется, в начале 30-х годов, когда он работал ночным сторожем при каком-то гараже в Буживале. Было раннее лето и Леня приглашал друзей слушать ночью буживальских соловьев. Теперь они перевелись, а тогда, правда, пели и звенели соловьи — может быть, потомки тех, которых слушал И. С. Тургенев на даче Полины Гарсиа Виардо. Дача и сейчас еще цела, с мезонином и березками, напоминающими русское именьице.

О прошлом своем Зуров говорил мало. Судя по его книгам, вероятно он участвовал совсем молодым в гражданской войне, говорили, что был ранен. Интересовался археологией, древними русскими памятниками (крест над могилой Буниных в Сент-Женевьев сделан Бенуа по зарисовке Зурова с такого древнего памятника). Уже позднее, в Шотландии, произвел ценное исследование о предках Лермонтова — был добрым тружеником всего, что ни предпринимал. Писал же трудно, ставя себе высокие требования, вероятно, тяготясь близостью Бунина, и с годами все труднее и труднее перенося сожительство с ним.

Все же не многие «молодые», нашумевшие в те времена в Париже, оставили после себя такое, правда, не обширное, но законченное литературное наследство, как Зуров. Пять книг: «Кадет», «Поле», «Древний путь», «Марьянка», «Отчина».

Личной жизни у Зурова, в общем, не было. Много у него было женщин друзей, но никто не слыхал о каком-нибудь его «романе», связи, любовном увлечении — это не прошло бы незамеченным, такие происшествия не ускользали от бдительных собратьев.

Несмотря на цветущий вид, Зуров здоровьем не отличался. Сперва обнаружилась легочная слабость, затем, позднее, после войны, — нервная болезнь, с периодическими улучшениями или ухудшениями. Трудное сожительство с Буниными, трудности творческие лежали на Зурове грузом. Казалось бы, после смерти Ивана Алексеевича атмосфера будет более легкой, но как часто случается с нервными заболеваниями, вся острота обращается к самым близким людям, в данном случае к Вере Николаевне, которой и пришлось вынести всю ее тяжесть и трагичность. Беспокоила ее и судьба Зурова после ее смерти. Всегда покорная воле Ивана Алексеевича, она поэтому и ослушалась, верно впервые, и отдала часть архива Бунина в СССР взамен маленькой пожизненной пенсии, которую за это обещали Зурову.

Не будь ее, не будь помощи Литературного Фонда и верных друзей Лени — Натальи Борисовны Соллогуб, Милицы Эдуардовны Грин, Софьи Прегель, да и нескольких других — Зуров бы прямо умер с голоду. Был у него возможный выход — вернуться в Россию, куда его приглашали на «советское иждивение», и никто его от такого шага не отговаривал, но сам Зуров на это пойти не мог. Посещения его советскими эмиссарами, все старающимися что-то от него выудить из оставшегося у него бунинского архива, мучили его беспредельно и вызывали у него необоснованные подозрения, переходящие в манию преследования.

Только тем, кого Зуров близко знал, он доверял. Ко всему развилась у него и сердечная болезнь. Он не мог уже подниматься на 6-ой этаж старого помещения редакции «Р. М.» и ждал меня внизу, когда хотел меня видеть.

Я никогда не слышала от него ни одного плохого слова о Бунине или Вере Николаевне, ни упрека, ни намека на что-либо из тайн их личной жизни. Наоборот, до самой своей смерти Леня Зуров, казалось, жил только для того, чтобы память о Буниных ничем не была омрачена.

С какой готовностью он принял мое приглашение придти в русскую секцию французского радио, поговорить со мною о Бунине, как прекрасно передал он сцену, произошедшую в Грассе во время посещения Бунина Андре Жидом. Жид защищал Достоевского — Бунин, в красном шелковом халате, с тюбетейкой на голове, с ним спорил. Наконец, Жид сказал: «А Ваш Толстой просто скучно пишет». Тут Иван Алексеевич вскочил, схватил хлебный нож, лежащий на столе и «как половец» ринулся на Жида, изображая убийство — сцена была незабываемой. С такой же готовностью и волнением Зуров собрал для номера «Р. М.», посвященного столетию со дня рождения Бунина, фотографии из своего архива.

После смерти Веры Николаевны Зуров смог остаться в части квартиры, ими занимаемой. У него было две комнаты, в которых царил неимоверный хаос. Зуров пытался разобрать оставшийся у него архив, пытался писать, переделывая каждую фразу, начиная все заново, переделывая опять, не в силах закончить хоть одну связную страницу.

Душеприказчицей своей он назначил Милицу Грин — и лучше найти, право бы не мог. Благодаря Милице Грин мы ознакомились с дневниками И. А. Бунина, и легко себе представить, как много пришлось ей потрудиться.

Над могилой Зурова, в русском некрополе Сент-Женевьев, растет березка. Может быть, в Псково-Печерской обители живет еще какой-нибудь инок, его знавший, и молится об упокоеньи автора «Отчины».

СОФЬЯ ПРЕГЕЛЬ

Софья Юльевна Прегель начала свою литературную деятельность в Берлине и близко я с ней познакомилась только после войны. Она вернулась из США в Париж, перенеся туда и свой литературно-художественный журнал «Новоселье», — вскоре все же закрывшийся — журнал русской культуры за рубежом, в который включились и писатели второй, послевоенной эмиграции.

Деятельность и энергия Софьи Прегель были удивительны — впрочем, еще более удивительна была ее доброта. Энергичны были и ее стихи. Помню, в одно из редких моих посещений вечеров русских писателей и журналистов, как бодро раздавался ее голос в зале Русской консерватории, так и верилось, что хотелось этой крупной, темпераментной женщине «все иметь: от великой любви до желтеющих яблок моченых». Как бодро предстояла она перед аудиторией, как четко читала стихи. Мир вещественный был ей близок, как фламандским художникам.

И улица походкой старика
С горы спускалась медленно и криво.
Под солнцем выцветали так лениво
Небесные, тяжелые шелка.

И пахло бочкой кислое вино
И погреба прохладой темно-красной
И не было поспешности напрасной,
Но каждый знал, что каждому дано
Лишь то, что осязаемо и ясно
И до конца в себе завершено.

«Разговор с Памятью» 1934

Тут нет ничего от Парижской ноты, хотя и написано в Париже, «золотой и мерцающий мед» и «пшеницей пенились возы» — всюду образы земных даров. И даже говоря о печали не спадает голос ее в минор. «О печаль моя заревая, ты живая и неживая, и цветение ты и тлен» писала она в 1966, когда молодость была уже позади.

Иногда я заходила за Софьей Юльевной в еврейскую благотворительную столовую, где-то в 16-м арондисмане, в которой она приняла деятельное участие, едва вернулась в Париж. Да в чем только не принимала Софья Прегель участия? Кому только не помогала она в то время и до самой смерти? Она была тем редким человеком, принципы которого побеждаются состраданием.

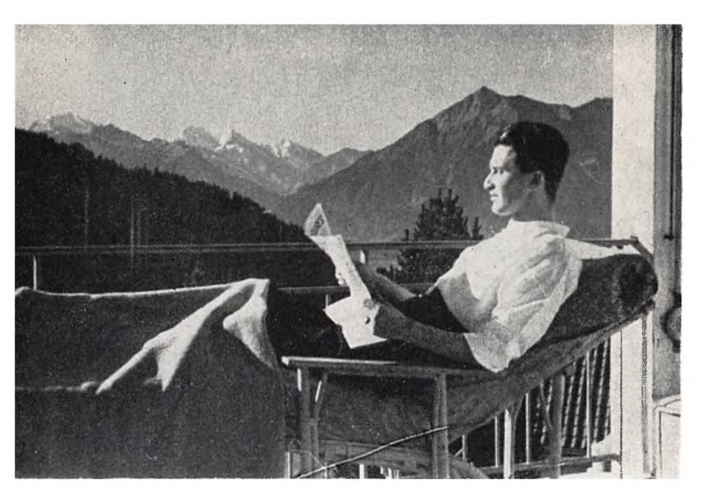
По темпераменту своему Софья Прегель была максималисткой, поэтому она яростно осуждала всех, кто хоть в какой-то мере не занял твердой позиции по отношению к гитлеровской Германии, но вопреки вот этому своему принципу непрощенья, при беде «провинившегося», как бы вопреки себе, приходила ему на помощь, не могла не прийти.

После войны вероятно, я мало ее знала до, она особенно сильно ощущала свое еврейство, и религиозное, и расовое. Но и без русской культуры мыслить себя не могла

Не забыть... до рассвета быть может,
Все, что память напрасно тревожит
Обернется Россией твоей.

«Берега» 1955

Случалось, обнаруживалась в ней детская непоследовательность суждений. Так, например, христиане, следовавшие обрядам своей веры, казались ей просто суеверными людьми, — как может просвещенный человек ходить в церковь? Следовать же закону Моисея было отнюдь не суеверием.



Анатолий Штейгер в Санатории (Швейцария).



Могила Анатолия Штейгера в Берне.



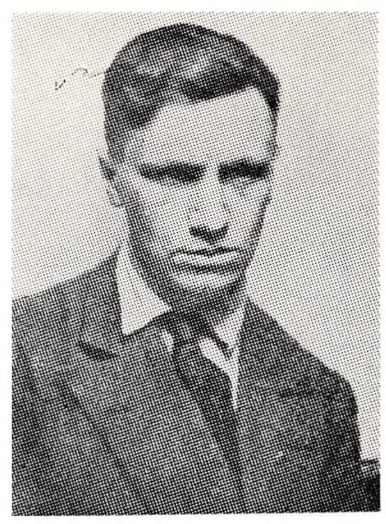
Дом в котором жили Бунины в Париже
1, rue Jacques Offenbach, Paris (16).



Могила Буниных в Sainte Geneviève-de-Bois



В. Н. Бунина и Л. Зуров



Б. Поплавский



Ю. Анненков

Владимир Смоленский, уже больной, в Сервазе в 1952 г.
Фото К. Померанцева



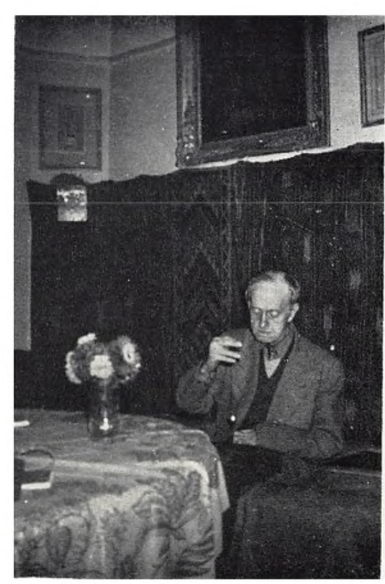
Марина Цветаева



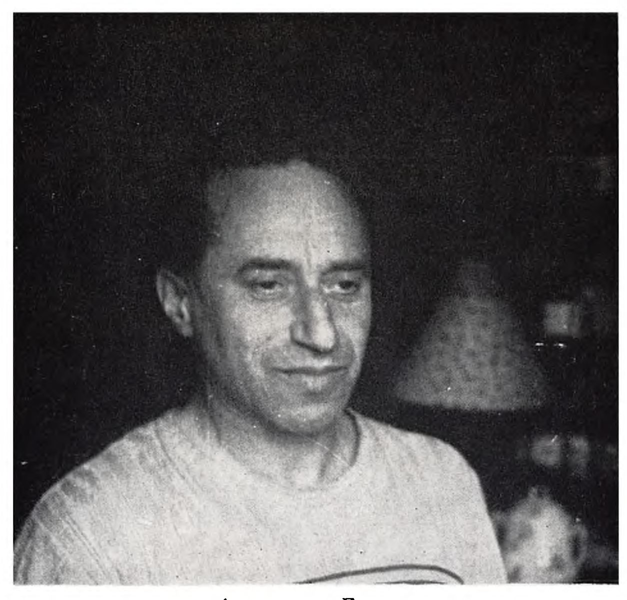
Марина Цветаева



Комната Л. Гофмана



Модест Людвигович Гофман. 1957 г.



Александр Гингер
(Фото К. Померанцева)



Ф. Уперов. Выборг 1935 г.



Владислав Ходасевич на Юге Франции.

Эстония 1935 г. Слева направо: Юрий Иваск, Елизавета Базилевская, Надежда Липпингер, Елена Щербина, Мета Роос, Павел Иртель-Брендорф, Мария Нарциссова, Борис Нарциссов, Карк Гершельман, Михаил Сидоров, Ирина Борман.



Е. Замятин в саду Малевских-Малевич.
Брюссель, 1935 г.

Но и тут, несмотря на свою религиозную нетерпимость, могу привести конкретный пример сверхъестественной ее доброты. Не кто другой, как Софья Юльевна привезла к умирающей в Американском госпитале Парижа, Юлии Сазоновой, крещеной еврейке, православного священника. Знаю, как трудно ей было это совершить, потому что мне, в жизни более терпимой, чем С. Ю., привести раввина к христианину, перешедшему в иудейство, было бы не так легко.

Когда тяжко заболел и затем умер один парижский поэт, ненавидимый Софьей Прегель за его, очень отвлеченные, симпатии к гитлеровской Германии, Софья Прегель не только помогла ему, при болезни, денежно, но и, собрав на похороны, присутствовала на его отпевании.

Что же говорить о тех, которые, в глазах Софьи Юльевны, ничем себя не скомпрометировали? И Бунин, и Ремизов, и Зуров, и множество других русских литераторов были Софьей Прегель опекаемы, она о них заботилась, шевелила и других — и все это безо всякой «рекламы», просто, скромно и тайно.

После 1968 года, когда я стала редактором «Русской Мысли», мы с С. Ю. встречались очень часто, тем более, что она жила совсем рядом со старой редакцией. Померанцев и я, едва нам была нужна какая-нибудь справка, по любому литературному вопросу — проверить ли цитату, узнать год рождения писателя или поэта, точное название его книги — телефонировали Софье Прегель и сразу получали нужный нам ответ.

Я много раз просила Софью Юльевну писать у нас свои воспоминания или критические заметки, но она никогда не соглашалась.

С. Ю. вела деятельную переписку с целым рядом советских литературоведов и видимо намеревалась когда-нибудь поехать в СССР, что было ей легко с ее американским гражданством. Этим я объясняла ее нежелание открыто участвовать в явно антикоммунистической газете. У нее должен был храниться интереснейший литературный архив, ведь она, годами

принимая активное участие в зарубежной русской литературе Берлина, Парижа, Нью-Йорка, знала всех его деятелей, имела с ними переписку. Поэт Александр Гингер завещал ей и свой архив, полный интереса. Не знаю, что из этих сокровищ было передано в СССР, но после смерти С. Ю. мы ничего о них не услышали.

В вопросе о передаче архивных материалов в СССР, как, впрочем, во многих других, я с С. Ю. резко расходилась. Мы с мужем согласились принять только одного советского эмиссара, но не поддались на его «патриотические» доводы: «Вы русские, неужели вы для России не хотите отдать ваши архивы, а предпочтете дать их какому-нибудь иностранному университету?» Мы отвечали, что с радостью отдали бы наши архивы России, но только такой, которая разрешила бы историкам, литературоведам, да и просто всем интересующимся, ими пользоваться. В засекреченном архиве пользы мало.

В СССР Софья Юльевна не поехала. Не поехала она и в Израиль, землю для нее обетованную и ею любимую. И в том, и в другом случае, может быть, боялась, что воображаемое не выдержит встречи с существующим.

ДОН АМИНАДО

С Дон Аминадо познакомилась я в юности в Брюсселе, когда он приезжал туда на свои вечера. Он был удивительно талантлив, умен и остер. Десятилетия прошли — и, не в пример другим юмористам эмиграции, Аминадо никак не устарел. Думается, потому, что даже когда он писал об эмиграции, Дон Аминадо как-то естественно выходил из узкой эпохи и за эмигрантским фольклором различал нечто более обширное.

Разве не современно: «чем дольше живу на свете, тем все более убеждаюсь, что и люди и государства живут не по средствам», или, по поводу бельгийцев: «Присягают королю, голосуют за социалистов, верят в текущий счет». Или молодежи:

«Пусть! а все же верю истово
С каждым годом все сильней,
Что из хриплого, басистого
Поколенья новых дней

Проблуждав тропой опасною,
Выйдут мальчики на ять
Выйдут с целью очень ясною —
Нам по шапке с вами дать».

и еще:

«Знаю, кесарево кесарю...
Но позвольте доложить,
Что теперь любому слесарю
Легче кесаря прожить».

и, наконец, заключение книги «В те баснословные года»:

«В смысле дали мировой
Власть идей непобедима
— От Дахау до Нарыма
Пересадки никакой».

К тому же он хорошо знал и французский мир, хорошо в него включился, был дружен с французскими юмористами, Пьером Даком и другими.

Как и Тэффи, Аминад Петрович совсем не легкомысленно смотрел на жизнь, он знал ее трагичность, ее сложность, был человек беспокойный, переживал события очень тяжело

«Старайтесь улыбаться» Смейтесь
Благо есть над чем.

Над нашей неуютной жизнью Дон Аминадо учил улыбаться и нас.

После первых встреч в 20-х годах, мы долго не виделись, разве раз или два на балах в «Лютеции», устраиваемых в пользу писателей, на которых бывали и молодые и старые и всегда много народа, и как бы забыли друг о друге. Но вот в первую годовщину смерти Бунина, Вера Николаевна позвала нескольких друзей к себе и попросила каждого рассказать о своем муже. Сказала и я несколько слов. Наклонившись к Вере Николаевне, Аминад Петрович, не узнав меня, спросил ее, кто я такая. Так мы снова познакомились. В это время мы с мужем только что вернулись из Марокко после «освобождения» этой страны от французских «колониалистов». Процесс этого освобождения (кстати сказать, едва меня не прикончившего, так как первая бомба освобождающихся была подброшена почему-то в тот самый вагон, в котором я возвращалась после лекции и выступления там по радио, из Рабата) стоил нам лично, и уже в третий раз в нашей жизни, нашего состояния. Аминад Пет-

рович, тогда уже успешно занимающийся делами, с юмором ничего общего не имеющими, был чрезвычайно озабочен нашим положением — даже более, чем я сама, довольно легкомысленно относящаяся к превратностям судьбы. Мы часто встречались в кафе, где он давал мне советы и болел душой. Оптимизм мой оправдался. Все понемногу — не без труда — наладилось, и в 1956 году мой муж был назначен 1-м секретарем бельгийского посольства в Москву. Радости Аминада Петровича не было конца.

Когда мы вернулись, он настоятельно просил нас к нему приехать обо всем рассказать и собрал много гостей — графа Платона Зубова с женой и других, живо интересующихся тем, что мы увидели и себе уяснили.

Как жадно слушал он рассказы наши «о всём, о всём!» Да и стар совсем не казался, все так же жив был его язык и его ум, так же молоды были его реакции на все, что происходило и так же умел он «стараться улыбаться».

Еще в 1951 году подарил он мне свою книгу (нумерованную) «В те баснословные года», написав на ней:

«Я знал ее еще тогда
В те баснословные года»...
И образ Зины Шаховской
Я в суете сберег мирской.

Не в пример Тэффи, которая очень ценила свои стихи (значительно уступающие ее прозе), лирические стихотворения Дон Аминадо просто хороши, хотя сам поэт как будто бы и не придавал им очень много значения. Не знаю, много ли он над ними работал, но ни работы не было видно, ни надуманности, как будто все само собою наполнилось прелестью и легкостью —

Апрельский холод. Серость. Облака
И ком земли, из-под копыт летящий.

И этот темный глаз коренника,
Испуганный, и влажный, и косящий.

О помню, помню!.. Рявкнул паровоз.
Запахло мятой, копотью и дымом.
Тем запахом, волнующим до слез,
Единственным, родным, неповторимым,

Той свежестью набухшего зерна
И пыльною, уездною сиренью,
Которой пахнет русская весна
Приученная к позднему цветенью.

Стихов Дон Аминадо как будто публично никогда не читал, кроме сатирических, о них не говорил, но вот такая чуткая к поэтическому дару Марина Цветаева признала не только в его лирике, но и в его шутках, и в нем самом — подлинного поэта.

Уже после смерти Аминада Петровича я встретила у В. Н. Буниной добрую и милую Надежду (Аминадо) Шполянскую и через несколько дней получила так тронувшее меня письмо:

«Он Вас очень любил и ценил — всегда об этом говорил, и я хочу, чтобы Вы это знали» — со вложенной в него фотокопией письма Марины Цветаевой к Дон Аминадо.

С ее разрешения, я привожу здесь это письмо, нигде еще никогда целиком не напечатанное.

Уступаю ей со смирением, как и она зная шкалу ценностей, последнее слово о Дон Аминадо.

—— • ——

Vanves, 31 мая 1938 г.

Милый Дон Аминадо

Мне совершенно необходимо Вам сказать, что Вы совершенно замечательный поэт. Я уже годы от этого высказывания удерживаюсь — à quoi bon? — но, в

конце концов, — несправедливо и неразумно говорить это **всем**, кроме Вас — который, единственный, к этому отнесется **вполне** серьезно и, что важнее — не станет спорить. (Остальные же (дураки) Вам верят на слово — веселее).

Да, совершенно замечательный поэт (инструмент) и куда больше поэт, чем все те молодые и немолодые поэты, которые печатаются в толстых журналах. В одной Вашей шутке больше **лирической жилы**, чем во всем их серьезе.

Я на Вас непрерывно радуюсь и Вам непрерывно рукоплещу — как акробату, который в тысячу первый раз удачно протанцевал по проволоке. Сравнение не обидное. Акробат, ведь это из тех редких ремесел, где все не на жизнь, а на смерть, и я сама такой акробат.

Но помимо акробатизма, т. е. непрерывной и неизменной **удачи**, у Вас просто — поэтическая сущность, сущность поэта, которой Вы пренебрегли, но и пренебрежа которой Вы — больший поэт, чем те, которые на нее (в себе) молятся. Ваши некоторые шутливые стихи — совсем на краю **настоящих**, ну — одну строку переменить: **раз не пошутите!** — но Вы этого не хотите, и, ей Богу, в этом нехотении, небрежении, в этом расшвыривании дара на дрянь (дядей и дам) — больше grandezz'ы, чем во всех их хотениях, тщениях и «служениях».

Вы — своим даром — роскошничаете.

Конечно, вопрос: могли бы Вы, если бы Вы захотели, этим настоящим поэтом — стать? На деле — стать?

(Забудем читателя, который глух, и который и сейчас не видит, что Вы **настоящий** поэт, и который — заранее — заведомо — уже от вида Вашего имени — béatement et bêtement — смеется — и смеяться **будет** — или читать не будет).

Быт и шутка, Вас якобы губящие — не спасают

ли они Вас, обещая **больше,** чем Вы (в чистой лирике) могли бы сдержать?

То-есть: на фоне **не** газеты, без темы дам и драм, которую Вы повсеместно и неизменно перерастаете и которая Вам посему бесконечно-выгодна, потому что Вы ея бесконечно — выше — на фоне простого белого листа, вне трамплина (и **физического** соседства) пошлости, политики и преступлений — были бы Вы тем поэтом, которого я предчувствую и **под**чувствую в каждой Вашей бытовой газетной строке?

Думаю — да, и все-таки этого — никогда не будет.

Говорю не о даре — его у Вас через край — говорю не о поэтической основе — она видна **всюду** — кажется говорю о Вас, человеке.

Я, кажется, знаю: чтобы стать поэтом, стать тем поэтом, который Вы **есть,** у Вас не хватило любви — к высшим ценностям: ненависти — к низшим. Случай — Чехова, самого старшего — умного — и безнадежного — из чеховских героев. Самого — чеховского.

Что между Вами — и поэтом? Вы, человек. Привычка к шутке, и привычка к чужой привычке (наклонная плоскость к газетному читателю) — и (наверное!) лень — и величайшее (и добродушное) презрение ко всем и себе, — а может быть уж и чувство: поздно (т. е. та же **лень:** она, матушка!).

Между Вами и поэтом — быт, Вы — в быту, не больше.

Не самообольщаюсь: писать всерьез Вы не будете, но мне хочется, чтобы Вы знали, что был все эти годы (уже скоро — десятилетия!) человек, который на Вас радовался, а не смеялся, и вопреки всем Вашим стараниям — знал Вам цену.

Рыбак — рыбака видит издалека.

Марина Цветаева

— А дяди! А дамы! Любящие Вас потому что невинно убеждены, что это Вы «Марию Ивановну» и «Ивана Петровича» описываете.

А редактора! Не понимающие, что Вы каждой своей строкой **взрываете эмиграцию!** Что Вы **ее самый** жестокий (ибо бескорыстный — и добродушный) судия.

Вся Ваша поэзия — самосуд: эмиграции над самой собой. Уверяю Вас, что (статьи Милюкова пройдут, а...) это — останется. Но мне-то, **ненавидящей** политику, ею — брезгующей — жалко, что Вы пошли **ей** на потребу.

— Привет!

ЛИМИТРОФЫ

РАЗРОЗНЕННЫЕ, разорванные, много кочевавшие, лежат передо мною русские эмигрантские журналы и сборники, а в чудом сохранившихся папках — письма тех, кто их создавал и кто в них писал в разных местах нашего рассеяния.

Более полувека гоняет все один и тот же противник изгнанников по всему свету и историческими событиями стирается память о жертвенных трудах отцов, детей и внуков, старавшихся в самых тяжелых условиях сохранить духовное и культурное сокровище, единственное ими вывезенное в 20-х годах из отчизны: свободное слово и память о прожитом. В Белграде, в Софии, в Харбине и в Берлине, в Париже и Риге, в Варшаве и в Вене — перечислить все географические названия трудно — печатались на трудовые эмигрантские гроши, чаще всего очень кратковременные, журналы и журнальчики.

В Бельгии жила престарелая мать ген. Врангеля, баронесса Мария Дмитриевна, которая годами собирала материал, названный ею «Живая Летопись Живых». Цель ее была — «закрепить по свежим следам: дела, деятелей, родные таланты в наши страдные дни на чужбине». Этот материал теперь находится в Хуверовском институте в Калифорнии. Из Парижа была немцами вывезена в Лейпциг самая обширная русская библиотека, Тургеневская, в которой находились все эти журналы. А из Лейпцига была она вывезена Советами в СССР, в сталинское время, поэтому может быть не все попало хотя бы под спуд, возможно, что что-либо особенно жгучее для режима могло быть и уничтожено.

В Праге русское народное достояние было собрано в специальный государственный архив при Мин. Ин. Дел, который Бенеш услужливо подарил в 1945 году Советам. А русские деятели, проживающие в лимитрофах, те из них, которые не были вывезены в лагеря СССР, бежали на Запад, вряд ли захватив свои архивы и свои библиотеки.

И вот теперь, не без меланхолии, смотрю я на разрозненные номера наших «провинциальных» журналов. Оторванные странички «Брюссельского Вестника» под редакцией Беликова, орган литературно-художественного кружка. Впрочем, такового и не было. В Бельгии существовал, в действительности, только очень деятельный «Клуб русских евреев» в Брюсселе и Антверпене. Он-то и приглашал парижских «корифеев» на лекции и доклады. Беликов был очень приятный молодой человек, друг парижанина Анатолия Алферова и в недолговечном «Вестнике» имена авторов были парижскими: Алферов, Червинская, Шаршун, Борис Дикой (Вильде), Терапиано, Марк Слоним и я, ведшая «Литературный Отдел» (громкое название) еще до этого в местном листке «Неделя», отражающем жизнь русской колонии.

В том же 1935 году, в котором закончился «Вестник», уже под двойным редакторством — Алферова и того же Беликова, в Брюсселе взошла «Полярная Звезда», иронически встреченная Ходасевичем (см. Письма Х.). Но и в «Полярной Звезде» мы находили те же парижские имена. Почему-то, кроме меня, живущие в Брюсселе литераторы в нее не попали.

О поэте Юрии Миролюбове осталась у меня память как о приятном человеке и тонюсенькая книжечка стихов, «Сюиты», Брюссель 1931. Другого брюссельского поэта звали Макеев, он работал шофером такси и называл себя «учеником Соллогуба».

Проживал в Брюсселе и тот самый соборный виршеплет — «Клуб Четырех»: поэт, эстет, аббат и корнет, о котором я уже упоминала.

Конечно, Брюссель не был лимитрофом, скорее сателлитом Парижа, но никак не соседом России.

С русским Берлином у меня связей не было, за исключением Сирина (Набокова), которого я там и навестила проездом, и который гостил у нас в Брюсселе.

С русским Белградом тоже сношений не имела, но часть «берлинцев» и «белградцев» в 30-х годах уже стала «парижанами».

Что касается Польши и прибалтийских стран, да и Харбина, то положение там было совсем отличное от нас. Не было там того отрыва от родной почвы, который чувствовался на Балканах и еще больше — в странах Западной Европы. Имелось там не только активно защищающее свою русскость меньшинство, официально представленное в парламенте, но и русский пейзаж, русский фольклор, русский коренной язык и не пересаженное на чужую почву православие.

Ярким примером русского писателя, жителя лимитрофной страны, был Леонид Зуров. «Возникнуть» в Париже Зуров бы не мог, и продолжал во Франции свою типично «псковскую линию».

Несмотря на это несколько привилегированное положение, литераторы лимитрофных стран остро чувствовали свою оторванность от «столичного» культурного центра и очень искали сближенья с западноевропейскими (русскими) собратьями. С сотрудниками литературных журналов, издающихся в Финляндии и Эстонии, у меня установились прочные связи и остались на память два номера — один от 35 года, другой от 36-го — «Журнала Содружества», издаваемого в Выборге, под ред. Ф. В. Уперова, при участии Меты Росс, Веры Булич, С. Риттенберга, Льва Иогансона и др., и 8-ой номер прекрасно изданного в Эстонии журнала «Новь», под редакцией Павла Иртеля-Бренндорф, тоже за 1935 год.

Кроме местных поэтов и писателей, в обоих журналах найдем имена Льва Гомолицкого (Варшава), Екатерины Таубер (Белград), Виктора Мамченко, Сергея Шаршуна и других парижан (и З. Ш.), а в «Нови» даже Бунина и Владимира Сирина.

С Латвией была у меня кратковременная связь. Я напечатала в рижской газете «Сегодня» три очерка о Бельгийском Конго, вернее, о его фауне. Не помню, чем я прогневила редактора Мильруда, но вероятно чем-то досадила, судя по письму милейшего Петра Пильского, почему-то у меня сохранившемуся.

⁂

Глубокоуважаемая

Зинаида Алексеевна!

Позвольте мне поблагодарить Вас за Вашу книжку стихов. Она мне очень понравилась. Написать о них доставило бы мне большое удовольствие. Но тут я встретил некоторое противодействие со стороны редакции — случай весьма и весьма редкий и у нас, и в моей практике. У Вас произошло некоторое недоразумение с газетой. Правда, это случилось давно. Таким образом, Вы не будете меня винить в невнимании к Вашим стихам, и цель этого письма снять с себя в этом отношении всякую ответственность перед Вами. Если Вы пожалеете об этом, то, — знайте, — я жалею еще больше.

Искренне Ваш

П. Пильский

Рига, 18 февраля 1936 г.

В Варшаве выходил «Меч». Там властителем умов был Д. Философов, а верным его учеником — поэт Лев Гомолицкий. Пропали у меня номера «Меча» и письма Гомолицкого, осталась все же его поэма «Варшава» 1934 года. Ничто так не показывает трагедию русской зарубежной лиры, как тиражи таких тоненьких сборников. Мой экземпляр «Варшавы» носит № 70, а тираж был всего в 100 экз. «Меч» в Париже, может быть из-за расхожденья Мережковских с Философовым, был принят в штыки (вышло нечто вроде

каламбура). В письме одного из парижан ко мне, от 1935 года, читаю такое: «"Меч" теперь не существует для парижан. Мережковские и все парижские сотрудники отказались работать с варшавянами из-за грубого тона и явной ненависти ко всякой культуре...»

В 1932 году самая большая бельгийская газета послала меня в мой первый большой репортаж в страны лимитрофы СССР. «Le Soir» интересовался не русскими меньшинствами, а настроением поляков, латышей, литовцев и эстонцев перед надвигающейся угрозой войны. Поездка моя должна была занять всего месяц — и встречи с русскими в этих странах поэтому были кратки и неполны.

В Варшаве русских я не видала, даже Гомолицкого, несмотря на нашу переписку. Отчасти такое мое упущенье было вызвано легендарным, и себя и легенду оправдывающим, гостеприимством поляков. Смутно помню, что в живописной таверне «Старого мяста», где легко было себе представить и пана Заглобу, и пана Володыевского из Сенкевича, я легкомысленно пила мед. Голова осталась ясной, но ноги как-то обессилели, когда меня привезли в Краковское Предместье к друзьям, у которых я остановилась.

В Риге опять-таки видала я больше латышей — молодого музыканта, потом художника, который провозгласил себя «друидом» и повез меня к какому-то священному дереву. Войны «друид» не боялся, и к Гитлеру был скорее расположен. Зато в Эстонии, бельгийский консул Никез, взявший меня под свое покровительство, сказал, что в сущности делать анкету среди эстонцев мне не надо, он за два дня посвятит меня в политическую и психологическую ситуацию, угощал меня самыми русскими блюдами на свете — с водкой, конечно, — и даже пригласил в дансинг с кружащимся полом — и в Париже такого не было.

Итак, за два дня собрав кое-какие сведения — катастрофы ни в каких лимитрофах по-видимому не ожидали — я смогла наконец встретить кое-кого из русских собратьев, но не многих.

В Эстонии русская общественность была, как и в

Латвии, очень активна. Жили там, несмотря на географическую отдаленность, и два поэта, Юрий Иваск и Игорь Чиннов, которые, попав на Дальний Запад США, стали известны как защитники и адепты «французской ноты». Но переписку я вела с Павлом Михайловичем Иртель-Бренндорф, и встретилась с ним в ту пору. Увидала поэта Бориса Семенова. Вот в «Нови» № 8 нахожу я его рассказ «Обороть»:

«Ой, моя родина,
звень — серебрень...
золоторогий упал олень.
В черные своры сбились псы, рог завитой теребят овсы.
Бороду выбрал туман из озер.
Фыркнул конь.
Догорел костер».

Никто из молодых поэтов, живущих на Западе, не смог бы написать таким языком.

Три дня провела в Печорах — в России — не скрою, почувствовала себя там больше на родине, чем в Москве в 1956 г.

На обратном пути заехала в Прагу, и там, конечно, посетила «Скит Поэтов», которым руководил проф. Бем. Собрание состоялось в ателье Головина. Тут, показалось мне, была совсем другая атмосфера, чем в Париже. Познакомилась со скитовцами — Вяч. Лебедевым, Эмилией Чегринцевой, Татьяной Ратгауз, Кириллом Набоковым, вскоре переехавшим в Брюссель, с Гессеном... Народу в просторном ателье было много, встретили меня радушно — но не без некоторого злорадства. Я, кажется, была первым парижским поэтом, попавшим в «Скит». Оттуда и вышла, совсем не роковая, но все же ошибка скитовцев. Увидя во мне олицетворение «парижской ноты» и, в их представлении декадентства, с веселым жаром нападали они, по приглашению Бема, на меня. Сами пражане были скорее «гумилевцами», чем «блоковцами». Попреки и укоры их были не без едкости, но били мимо

цели. Слушая их, как нечто меня не касающееся и несколько скучая, я машинально ела и ела поставленные передо мною бисквиты для предстоящего чая. И когда, улыбаясь, Бем предложил мне слово, все, что я смогла сказать, указывая на пустое блюдо перед собой: «Да вот, придется мне извиниться, я, как видите, в рассеянности съела все печенья». Стихов же пражан я так и не услыхала — было уже поздно — и своих не читала, по той же причине.

Отдаю должное пражанам — время показало, что стихи они писать умели, и по «профессионализму» не уступали парижанам. Если собрать антологию русских эмигрантских поэтов за двадцать предвоенных лет, то в каждой из малых наших общин — найдутся подлинные.



МИМОЛЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

РИМ, сентябрь 1946. Я в Риме транзитом, жду самолета для полета в Грецию, где не закончилась еще гражданская война. Чувствую себя в отпуску после угнетающего Нюренбергского процесса и гораздо менее угнетающего репортажа в Венеции Джулия, где ссорятся итальянцы и югославы. Рим голодный и холодный, заранее подготовляющий меня к итальянским нео-реалистическим фильмам: «Рим открытый город», «Велосипедный вор» и т. д.

И все же тут легче, чем в городах Германии. Для союзников Италия не совсем побежденная, скорее освобожденная страна. Для итальянцев союзники нечто вроде туристов, а не оккупантов. И в трагическое время итальянская улица наполнена персонажами из Комедия дель Арте. Живая, не мертвая нищета.

В Риме живет патриарх русских поэтов, Вячеслав Иванов. Вечером, бродя по черным улицам все еще затемненного, но уже не из-за войны, а из-за бедности, города, я тщетно ищу прохожих, могущих указать мне улицу — и готова уже отказаться от моей попытки, как из переулка показываются два маленьких мальчика. У каждого из них в руках кастрюля, наполненная тлеющими углями, отопление в Риме не действует, горючего нет. Я старательно выговариваю адрес, и старший, взяв меня за руку, ведет, как слепую, до двери, мне нужной, сам и звонит. Мальчики уходят, ослепленные наградой, которую они с достоинством сперва отклоняют. Я у Ивановых.

В год моего рождения Вячеслав Иванов был Магом русской словесности, эпигоном декадентства, символистом, эзотеристом — всем, что мне было (и осталось) чуждо. Я шла на поклон к человеку замечательному, который, по словам его современника. «дошел

до мистического универсализма, где русский фольклор соединен с миром Гете, оккультная музыка Скрябина — с платоническим эллинизмом» (цитирую по памяти). Шла не без трепета — с малыми моими познаньями предстать перед человеком с такого масштаба познаниями было как-то неуютно. Знала я также, что от мира своей «Башни» Вячеслав Иванов в Италии отрекся. Перейдя в католичество со всей своей семьей, он преподавал в университетском колледже в Павии и в понтификальном Восточном Институте в Риме. В государственных университетах Италии в те времена требовалась принадлежность к фашистской партии, а стать ее членом Вячеслав Иванов отказывался. Не могу точно вспомнить, что он говорил тогда о судьбах своей любимой Италии, может, напоминал, что на Итальянской Земле всегда были люди, вдохновленные громким ее прошлым и пытающиеся — втуне — возродить ее величие.

Говорят, Вячеслав Иванов был высок. Я увидела перед собою маленького худого старика с высоким лбом — еще увеличенном лысиной — с прекрасно-мудрым лицом. Легкие, длинные, белые как лунь, вьющиеся на концах волосы слегка спадали на шею. Не петербургский эстет Серебряного века, а восьмидесятилетний старец, готовящийся покинуть мир живых.

Все треволнения военных лет Вячеслав Иванов прошел окруженный самой преданной, самой верной любовью своей семьи — сына (моего друга) журналиста Жана Невеселя, дочери Лидии-музыкантши и Ольги Шор — своего альтер эго. Культурное превосходство всех членов этого дома было для меня настолько очевидно, что, как в юности перед писателями старшего поколения, я и рот побоялась открыть. Зато услышала Вячеслава Иванова. Он читал отрывок из своего последнего творенья, Святомир Царевич.

Написанное в ритме средневековой русской эпопеи, тема была вдохновлена легендой — для Иванова, повидимому, пророчеством, — о тысячелетнем блаженном царстве Божием на земле.

ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА ТОЛСТАЯ

Тот же год, тот же город — Рим. В доме на Порта Пинчиана прислуга вводит меня в маленькую комнату. Стены ее покрыты фотографиями русских писателей. Здесь живет Татьяна Львовна Сухотина-Толстая. Ей, как и Вячеславу Иванову, 80 лет. Маленького роста, с живым, энергичным лицом под белыми волосами, она входит в комнату уверенным и быстрым шагом, тем самым, которым — я знаю от Бунина — входил Толстой навстречу молодому писателю, «быстрый, легкий, страшный». Страшного в Т. Л. ничего нет. Я вглядываюсь. «Бугры надбровных дуг Толстого, его маленькие пронзигельные глаза»? Да, Татьяна Львовна похожа на своего отца. В маленькой хрупкой женщине чувствуется темперамент, физическая сила, жизненная энергия. Особенно, когда она говорит. Ее голубые глаза — у писателя они были серые — меня зорко осматривают.

«Вы знаете, почему я такая крепкая в мои годы? Это потому что я вегетарианка. Люди не должны есть трупы».

В точных выражениях она воскрешает для меня Толстого, молодого автора Севастопольских рассказов, которые его собратья-писатели сразу же приняли дружески, особенно Тургенев, который хотел было Толстому покровительствовать, но очень скоро был растерян перед молодым человеком с ярко выраженными убеждениями: «Шекспир это пустота», «Жорж Санд ничего не стоит» — вот что говорил мой отец.

Я осторожно касаюсь семейной драмы Толстых.

«Нет виновных», — с силой говорит Татьяна Львовна — есть только несчастные». И повторяет: «Да, все были несчастны, никто не был виновным». Затем выявляется Толстой в кругу своей семьи:

«Как он умел веселиться! Он сочинял песенки, чтобы нас насмешить».

Вокруг нас на полках стоят книги Толстого и о Толстом на всех языках мира, по-японски, по-литовски... Из ящиков Татьяна Львовны для меня вытаскивает фотографии своего отца: ребенком, юношей, затем в окружении своей семьи, со своими учениками... Наконец, Толстого в старости, все с тем же пронзительным взглядом и некоей «звериностью», которую он всю жизнь старался укротить.

Затем настает черед семейных портретов:

«Толстые принадлежат к очень древнему дворянству, только титул графа не давний». Голос ее становится ироническим: «Вот, смотрите, первый граф Толстой. Гордиться нечем! Титул был дан Петром Великим за удушенье царевича Алексея».

Лица поколений Толстых проходят, и вот наконец маленькая Соня, правнучка писателя, жена Сергея Есенина.

Тут Татьяна Львовна замолкает, как будто ведет перекличку мертвых.

«Из всех детей Толстого в живых осталось двое, моя сестра Александра в Америке и я, французская гражданка. Мой внук — итальянец, мой племянник — француз, Соня — советская гражданка... Весь мой Толстовский архив я завещаю Национальной библиотеке в Париже».

Она встает, подходит к корзинке, где лежит рукоделье.

«Смотрите, это я делаю для праздника в пользу православной церкви в Риме». Она держит в руках куклы. Они одеты точно так же как одевались по праздникам крестьянки Тульской губернии, я это помню — и перед окном, открывающимся на Порта Пинчиана мы говорим о людях и пейзажах, среди которых Татьяна Львовна жила, где я начинала жить.

Татьяна Львовна Сухотина-Толстая умерла в Риме, 22 сентября 1950 года. Эта статья, написанная по-французски, была напечатана 28. 9. 1950 г. в парижской литературной газете «Ле Нувель Литтерер».

ЮРИЙ АННЕНКОВ

Я ВСТРЕЧАЛАСЬ с ним, вернее, сталкивалась, еще на Монпарнасе. Тогда он носил монокль, был «независим», т. е. ни к каким группам не принадлежал, от советского подданства не отказывался, бывал и в сов. посольстве, как persona grata, эмигрантом себя не считая. Затем в 1949 г. опять-таки сталкивалась я с ним около гостиницы «Гранд Отель Таранн», на бульваре Сен-Жермен, где жил наш с мужем друг, Борис Вульферт, сын художника Похитонова и дядя Игоря Маркевича. Прелестный и трудный человек, скрытно тяжело переживавший свое внебрачное рожденье, человек большой культуры и художественного чутья, по облику настоящий барин, по складу — типичный русский европеец-диллетант. Вульферт, отдававший дань талантам Анненкова, жившего в той же гостинице с молодой русской актрисой Беляевой (Натали Натье), особенной дружбы с ним не водил. Я знала рисунки Анненкова, его портреты, читала его оригинальную и даже блестящую прозу, но чем-то он мне не нравился, да и он мною не интересовался, так: здравствуйте-прощайте. В ту пору он был весь в кинематографе, в декорах и костюмах.

Позднее, уже в редакции «Русской Мысли», стали наши встречи еженедельными, Анненков был художественным критиком газеты. В эти годы он уже не рисовал, разве что иллюстрации к рассказам, по просьбе авторов, да еще рисунки для обложек книг этих авторов, но они уже не отличались четкостью и модернизмом первых его работ. Портретов не набрасывал, а те, которые сделал по фотографиям, мы даже и воспроизвести не захотели в «Р. М.», так было это

непохоже на Анненкова. Этот блестящий во многих отраслях человек в старости наименее сохранил талант именно художественный. Разбрасывая себя, он не дошел в Париже до кульминационного пункта своей известности как художник, а были у него на это несомненные данные.

Дружбы между нами не возникло и тогда, когда мы виделись часто, хотя никогда и не размолвились и как будто не скучали друг с другом.

Юрий Павлович мне казался человеком, в сущности не понимающим даже разницы между тем, что этично и не этично и отказывающимся делать выбор. Не циником — а просто даже и не понимающим подобных проблем.

Как до, так и после революции, в первые страшные ее дни, в судьбы России он не вглядывался, прекрасно жил на чужбине с советским паспортом и общался с советским посольством, когда Париж был уже наводнен первыми эмигрантами. Он живо описал беспорядочные хаотичные дни занятия Парижа, за Гитлера, конечно. не был, но и против не выступал, только наблюдал, как бы извне. Любил рассказывать что происходит от декабриста Анненкова и его французской жены Полины, — не знаю, так ли это — с удовольствием напоминал, что родился на Камчатке, куда сослали его отца. От него же я узнала, что отец, бывший царский каторжник, затем разбогател, стал судовладельцем, имел дачу в Финляндии. Будто бы возмутившись, что у него (отца Ю. П.), бывшего ссыльного, Октябрьская революция отобрала все его капиталы в банке, он пошел жаловаться самому Ленину. Тут я от шутки не удержалась — заметила, что хорошо, что не только у нас отбирали, а и у бывших революционеров, ставших капиталистами — Ю. П. засмеялся.

Раз я прямо спросила у него: «Юрий Павлович, Ваши воспоминания чрезвычайно живы и интересны, но я слыхала, что и Ленина и Троцкого Вы писали по фотографиям, а сами их не видели — вопреки тому, что написано Вами». Он улыбнулся: «Ну, знаете, я

творчески претворяю действительность» — так что можно было понять, что и выдумка пригодна при случае.

Анненков был как будто дружен с Замятиным, и в некоторых аспектах они были чем-то похожи, но под личиной сдержанного безразличия, отчасти даже цинизма, Замятин был человеком строгих принципов и сердечной отзывчивости. Я слыхала от Юрия Павловича правильные оценки талантам чужим, но никогда не слышала от него слова заботы или сочувствия даже к тем людям, которых он ценил. При подготовке моего сборника стихов «Перед Сном» я прочла ему несколько пьес, и он попросил посвятить ему такую:

Под серо-лиловым рассветом
Дрожала в росе сирень,
Все это случилось летом,
Но на лето упала тень

И люди сожгли поместье
И все, чем страна жила,
Во имя немудрой мести
Сломали оба крыла

На которых страна летела
В будущее, в простор,
Как громадное темное тело
Неподвижное до тех пор...

Удивил его выбор, ибо, в какой-то мере, стихи — укор тем, кто революцию готовил.

В благодарность за посвящение Анненков захотел нарисовать мне экс либрис, долго держал у себя мой альбом — и вернул его без рисунка, но с доброй надписью. Как я сказала, самое первое его ремесло первым и выскользнуло из числа отпущенных ему многих даров.

МОДЕСТ Л. ГОФМАН

«ПОКЛОННИК Пушкина, хоть человек не глупый» — любил при случае говорить Георгий Адамович, подразумевая, конечно, что нет в природе русского, который бы Пушкина не ценил, независимо от его умственного развития и литературного вкуса. Пушкин — это единственное абсолютное в мире, о чем среди русских разногласия нет. Даже Набоков не замыслил сбросить его с пьедестала. Но в своей жизни я встретила только двух человек, которые посвятили Пушкину всю свою жизнь. Первым был встреченный мною в Париже, в 1922 году или в 1923, престарелый Александр Онегин, создавший в Париже еще до революции свой частный Пушкинский музей и по Высочайшему разрешению переменивший свою собственную фамилию, не помню какую, на Онегина. Ходил он в крылатке, все же без боливара, но с тростью в руке. Мимолетное это виденье — он выходил из русского ресторанчика на бульваре Курсель, а мы с братом туда входили — показалось мне, шестнадцатилетней, жутким.

В эти же годы в Париж был послан Петроградской Академией, чтобы принять завещанный ей покойным Онегиным архив Пушкинского музея, профессор Модест Людвигович Гофман.

Гофман исполнил данное ему поручение, архив и экспонаты послал в Петроград — но сам туда не вернулся, остался эмигрантом в Париже.

Модест Людвигович был исследователем пламенным и преданным до конца. Он прямо жил Пушкиным и долгие годы сотрудничал с Сергеем Лифарем, который не щадил ни денег, ни энергии для создания

зарубежной Пушкинианы и Пушкинский юбилейный год, 1937-ой, был отмечен вне России не только более или менее удачными «Днями Русской культуры», но и прекрасно изданными книгами (все тем же Лифарем), как, например, факсимиле писем Пушкина к Н. Н. Гончаровой. Гофман в том же году написал статью для вышедшей на французском языке пушкинской антологии. Я приходила к нему на дом, вела с ним переписку; он, как и многие русские, случалось, покупал на Блошином рынке картины самых прославленных мастеров: Леонардо да Винчи, Веласкеза — и всегда твердо верил в их подлинность, сердясь на обескураживающее мнение экспертов. Но это обладание шедеврами, даже без меркантильной целеустремленности, было его «хобби», жизнь же его была — Пушкин. Он все о нем знал, мог говорить о нем часами и даже, от великой любви, осмелился (после того что издал, по его мнению — неоспоримый, без особых к тому доказательств, дон-жуанский список Пушкина) окончить за него «Египетские Ночи». Увы, преданность и любовь — не всегда хорошие советники или вдохновители. В «Возрождении» Владислав Ходасевич, к славе Пушкина относившийся ревниво, разразился двумя гневными «подвалами», назвав их «Сказки Гофмана».

За войну я потеряла из виду Модеста Людвиговича и только в 1959 году, когда мне сообщили о его болезни и одиночестве, я навестила его в его квартирке в 15-м аррондисмане. Он мучительно страдал суставными ревматизмами, был беспомощен — за ним присматривала русская дама из второй эмиграции — признавался, что мечтает о самоубийстве. В 1959 году он скончался, под портретом Пушкина.

МИХАИЛ ОСОРГИН

ВПЕРВЫЕ встретилась я с ним у Ремизова и, как уже упомянула, смущенья перед ним не почувствовала. Это был какой-то «приятный» человек, держащий себя просто, безо всякой писательской ужимки. Затем встречалась с ним и в редакции «Родной Земли», читала его «огородные статьи» в «Последних Новостях», он там как-то лирически описывал свое сиденье на земле, по которому у русского человека всегда ностальгия. И роман «Сивцев Вражек», — на этой улице я родилась — и «Свидетель Истории», все это в стиле лирического импрессионизма, а Итальянские его очерки, вышедшие в книге под названьем «Там, где был счастлив» — сродни воспоминаниям об этой стране Б. К. Зайцева.

Книги и статьи Осоргина русской эмиграцией читались с удовольствием — они не беспокоили ее трагической современностью, но утешали напоминанием о более светлом прошлом. И говорил Осоргин не громко, не авторитетно, с какой-то приятной теплотой. Кажется у Ремизова услышала я его рассказ о какой-то студенческой революционной коммуне его молодости, не помню где, в деревенской глуши. Готовились сии студенты обоего пола к террористической деятельности и очень много говорили и спорили по политическим и социальным вопросам. Коммуне помогала своим житейским опытом и хозяйственными навыками приходящая прислуга-крестьянка, что уже довольно примечательно.

Однажды перед будущими террористами встала необходимость зарезать петуха для обеда. Любителей на это как-то не нашлось, пришлось метать жре-

бий. Вытянувший его взял без энтузиазма кухонный нож и пошел ловить свою жертву. Зажмурив глаза, он нанес петуху удар — но окровавленная птица вырвалась и начала бегать по саду. С отвращением и ужасом насельники бросились ловить петуха, бледные, девушки уже в слезах. Палач уронил свой нож! И неизвестно, как бы все это окончилось, если бы не пришла в это время прислуга. С презрением посмотрев на растерявшихся террористов, баба в одну минуту поймала петуха и, свернув ему шею, прикончила его страданья.

ПИСЬМА М. ОСОРГИНА

11, Square de Port-Royal
PARIS - 13e

Париж 19. 10. 35

Многоуважаемая Зинаида Алексеевна,

Я прочитал Ваш разсказ, посланный Вами «Совр. Зап.» — Ваши «прозаическия возможности» вне сомнения, но я думаю, что несколько портят дело Ваши возможности «поэтическия», от которых Вы не отрешились. Излишек так наз. изысков, не полная простота. Но главное в ином. К сожалению нет передо мной разсказа, а читал я его неделю назад и, по необходимости, «в спешном порядке», так что не могу припомнить те совсем неправильныя (не русския) выражения, которыя я заметил и которыя очень портят впечатление. И еще некоторая техническая небрежность (даже в знаках препинания) и отсутствие последней шлифовки. Все это мне показалось легко исправимым. Вы мне извините, Зинаида Алексеевна, мои замечания, но ведь такия мелочи иногда решают дело. Очень сожалею, что вынужден говорить «вообще», не приводя примеров. И еще я обратил внимание на некоторую напряженность вымысла (ею из больших страдал Достоевский, из малых страдает Сирин).

Я читал Ваши французские заметки, написанныя с удивительной четкостью и примерным изяществом. Значит проза Вам свойственна во всей мере, только Вы, я думаю, еще не нашли свой жанр в разсказе. Все это придет, если не торопиться и не бояться разочарований.

Вот Вам мое мнение, высказанное со всей откровенностью, на которую меня обязывает Ваше ко мне обращение. Вообще же я думаю, что переход от стихотворства к серьезной работе (простите, я считаю стихи устарелой и ненужной формой искусства, а главное — губительной для таланта, да и вообще нелепой), — такой переход очень труден! «Поэта» часто выручают бирюльки — прозаика они губят. Вопрос, конечно, сложный, говорить об этом можно долго. Пушкин преодолел, Блок несколько запутался, а большинство «поэтов» долго должны переучиваться, чтобы написать хорошо письмо или даже простую газетную заметку.

Примите мой привет, Зинаида Алексеевна, и как нибудь примиритесь с ересями упрямого стараго прозаика.

Мих. Осоргин.

6 июня 36

Дорогой поэт (не поэтесса)!

Благодарю за письмо и надеюсь, что вы разрешите мне, при случае, им воспользоваться (со ссылкой на вас), если придется вернуться к теме.

Конечно, я получил книжку ваших стихов; разве я не поблагодарил вас за нее? Это на меня не похоже! Тогда простите и примите запоздалую благодарность! Жду вашей прозы. Ваши литер. заметки отличны.

С 1 мая по 1 окт. я всегда живу в деревне, адрес прилагаю. А в остальныя месяцы адрес обычный парижский.

Примите мой привет!

Мих. Осоргин

У ШАГАЛА

Ванс и Сен-Поль де Ванс, когда-то скромная местность Прованса, жители которой и не думали о живописи, стала теперь художественным заповедником.

Ниццкий шофер, везущий меня на дачу Шагалов в Сен-Поль де Ванс, знает имена всех художников, здесь поселившихся; журналистов газет, радио, телевидения, которых он возил на репортажи. У подножья холма, где находится «фонд Маегта» и где происходит выставка Мальро, — множество машин, иностранных и французских. Мы едем дальше, между редкими уже дачами.

«Холм», так называется усадьба Шагала, в глубине парка. Никого не видно, только из-за двери густой лай собаки, видимо — внушительной, и навстречу мне выходит моя старая знакомая, жена художника, Валентина — Вава Шагал, пережившая, как и мы, налеты на Лондон.

Вава женщина умная, красивая и образованная, совсем не похожа на обычных жен знаменитых людей: друг и помощница мужа, она взяла за правило оставаться в тени.

Вава первая рассказывает мне, как трогательно встречали Шагала, во время недавнего посещения СССР, где, наконец, была устроена выставка его картин, приобретенных меценатами до революции и хранящихся теперь в государственных музеях.

К чаю выходит Марк Шагал. Он мало изменился с нашей последней встречи, когда мы с мужем были у них еще на старой даче в Ванве в 1958 г. Голубые

глаза все так же легко улыбаются. Приходит Паша овчарка, оказавшаяся весьма гостеприимной.

Я говорю о первой картине Шагала, которую я увидала в самом начале 30-х годов в кабинете Жюля Сюпервьеля; такую легкую, в воздухе висящую, корову лилового цвета. «Да, Сюпервьель очень любил мою живопись». Вспоминаем и о Блезе Сандраре, о других его друзьях, которых я знала и не знала.

— А что почувствовали Вы, вернувшись в Россию?

— «Волнение, конечно».

— Как прошла Ваша выставка, что говорили посетители?

Шагал смеется: «Было послано 350 личных приглашений, а на выставку пришло около 3-х тысяч. Люди приезжали из разных городов. Услышать, что они говорили, было невозможно. Нас чуть не смело, несмотря на наряд милиции. Я думаю, что речи мин. культуры Фурцевой и моего ответа — тоже никто не слышал. Но что меня особенно тронуло — это то, что многие посетители пришли с букетами цветов, не купленных, а сорванных в своих садах: сирень и другие, самые чудесные русские цветы. Потом я побывал в Переделкине и там опять восхитился природой, ведь нигде на свете нет таких запахов, как в России. Я очень люблю Левитана, ведь он, как никто, отобразил русскую природу.

На улицах, когда нас узнавали, тоже подходили незнакомые и тоже протягивали букеты цветов. И подарками нас забросали. Нам дали целый аппартамент в гостинице «Россия» и секретаршу, и автомобиль с шофером».

— Автомобиль был «Чайка», но поэтический Шагал всегда называл его «Фиалкой» — вставила его жена.

«В гостиницу тоже приходило много народу, но не все смогли попасть ко мне. Из Витебска приехал совсем молодой поэт, 20 лет, он добился все же свидания со мной, и дал мне свою тетрадку с рукописными стихами. Люди сведущие говорят, что хорошие.

Были, конечно, и официальные приемы. Банкет

Обезьянья свадебная грамота

княжне Зинаиде Алексеевне Шаховской
и Святославу Святославовичу Малевскому-Малевичу
в знак возведения в кавалеры обезьяньего знака
I ст. Зинаиду Ал[illegible]овну Малевскую-Малевич
I ст. [illegible] петушиным гребешком
Святосла[illegible] Святославовича Малевского-Малевича
с персидской фисташкой и голубиным
перышком обезьяньей [illegible] и вольной
палаты

Гербовая обезьянья марка I обезьянон (=100 гуслей? чер.)

21.XI 1926 Paris

Полпред Евразии кав. обез. зн. П. П. Сувчинский
полпред Турции М. М. Тер-Погосян
Ось обезвелволпала С. Шарацун

Обезьянский Асыка собственно хвостом

Скрепил и денежную похмельную получил б. канцелярист обезвелволпала Алексей Ремизов

Что замуж вышли — не такая уж беда; через это надо пройти. Второй этап жизни начали. Третий — опыт возврата к первому, юношескому. А четвертый — ряд ухищрений, чтобы ускользнуть от итогов. Так вот человек и бьется, покуда не успокоится.

Главное в жизни — чаще улыбаться, даже когда не очень хочется. И чтобы было тепло. Очень желаю Вам тепла в жизни.

Мих. Осоргин

26. 12. 25
(Paris)

Когда вот так меня просят написать в альбом и я говорю, что не умею — мне не верят. А мне это труднее, чем написать рассказ. Почему? А вот покажу.

Помню, раз я сидел в Коктебеле на пляже, с одной молодой поэтессой. Около нее — два ее мальчишка. Один спрашивает: „Мама, это ты меня родила?" — „Я". — „А Васю — тоже ты?" — „Тоже я". — „Ага... (пауза). А ты могла бы нам собачку родить? Ну, пожалуйста! Это уже совсем просто, она маленькая!"

И никак мальчишка не хотел поверить, что собачку маме родить труднее, чем Васю...

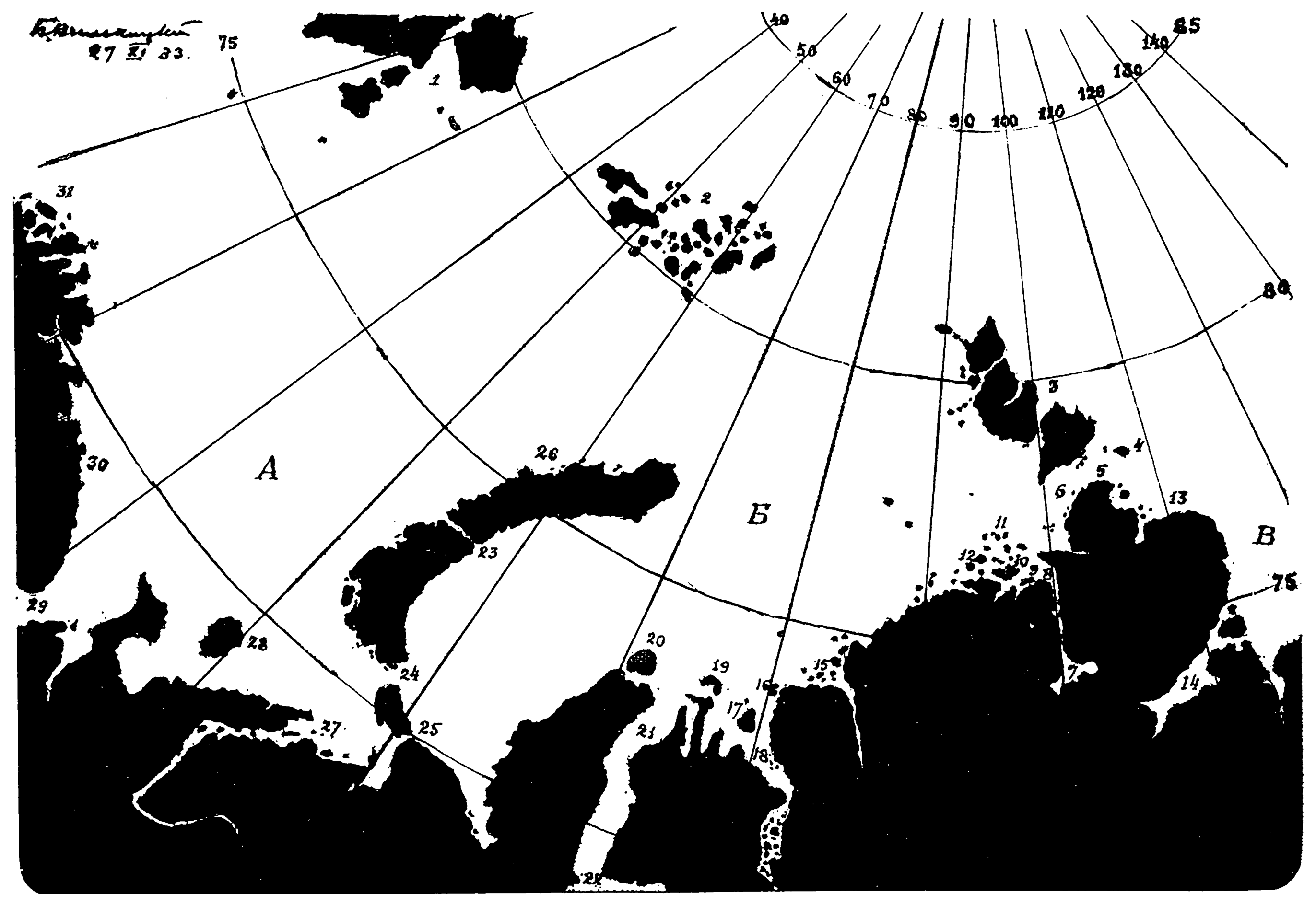
Евг. Замятин

7-XII-1933. Брюссель.

Обозначенія на картѣ.

А. Баренцово море
Б. Карское море.
В. Море Лаптевыхъ
1. арх. Шпицбергенъ.
2. земля Францъ-Іосифа
3. земля Николая II-го (Сѣверная земля.)
4. о. Цесаревъ. Алексѣя (Малый Таймыръ).
5. м. Челюскинъ.
6. проливъ Бориса Вилькицкаго
7. оз. Таймыръ
8. устье р. Таймыры
9. о. Колчака
10. о. Таймыръ
11. арх. Норденшельда
12. о-въ Вилькицкаго (Андрея Ипполит.)
13. полуостр. Таймырскій
14. губа Хатангская
15. устье р. Пясины
16. о. Диксонъ
17. о. Сибирякова
18. у. Енисея
19. о-въ Вилькицкаго (А.И.)
20. о. Бѣлый
21. Обская губа.
22. Входъ въ Тазовскую губу. (Мангазея XVI в.)
23. прол. Маточкинъ Шаръ
24. Карскія Ворота
25. прол. Югорскій Шаръ
26. Новая Земля
27. Устье Печоры
28. о. Колгуевъ
29. Горло Бѣлаго моря
30. Мурманскъ
31. Сѣв. г. Норвегіи

Б. Вилькицкій



27 XI 33.
А
Б
В
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
85
80
75

Краткая исторія русской интеллигенціи

Сѣйте! Спасибо вамъ скажетъ
сердечное
Русскій народъ
Некрасовъ

А мы просо сѣяли, сѣяли..
А мы просо вытопчемъ, вытопчемъ..
Народная пѣсня

Собралъ К. Мочульскій.

Парижъ
10. XI. 26

МАРИНА ЦВЕТАЕВА.

КОНЕЦ КАЗАНОВЫ.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ЭТЮД.

«СОЗВЕЗДИЕ».
МОСКВА
MCMXXII.

У изд-ва „Созвездие" не было
денег, было два жулика, обманом
выудившие у меня рукопись Конца
Казановы, напечатавшие без
моей корректуры только пол-
Конца, т.е. III акт
и затем [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible], [illegible].
Вещь целиком напечатана
в „Воле России" — [illegible] 1929 год.

МЦ

Брюссель, май 1936 г.

Париж
9 июля 1932 г.

этому тексту
[illegible]
к тяжелому сну
[illegible]
никто кроме как

Я надеюсь что Ал. Браун
побьет Кид Франсиса
а также что хоть что-
нибудь выяснится насчет
„Прометея" („что действительно страшно важно)
„области узнал"
интересны и настоящие

Преданный Вам

Борис Поплавский

в Кремле на 30 человек с представителями всех видов искусства. Не помню, кто был от писателей, от балета — Майя Плисецкая, от музыкантов — Хачатурян».

— Ведь мы были всего дней семь в СССР. Из них два в Ленинграде, — пояснила Валентина Шагал. Такой калейдоскоп лиц, что всех не запомнишь.

— «А в Ленинграде живут еще две мои сестры, (из шести), пережившие осаду Ленинграда».

— В Витебске не были?

«Нет, утомительно все-таки! В Москве побывали в Кремлевских соборах. Многие церкви теперь реставрируются. Строят новые здания для Третьяковской галереи...».

— После выставки будут Ваши картины выставлены перманентно в каком-нибудь музее?

«Не знаю. В Москве осталась моя театральная роспись, только она не была подписана. Вот ее принесли в Третьяковскую, развернули, я подписал, ее опять свернули.

Выходили мы мало, но побывали в театре, на балете («Спартак»), на концерте. Нигде в мире не видели мы такой любви к чтению, к искусствам, как в России. Несмотря на то, что у всех там телевизоры, все ходят с книжками, читают в скверах, в садах, в метро. Как они слушают музыку, это просто надо увидеть и почувствовать... Всей душой, как будто бы они на священнодействии. И в театре то же самое. Такая тяга, такое уважение к культуре, прямо удивительно и трогательно».

— Как только я приехала в Ниццу, я сразу же пошла в Ваш музей. Никто лучше самого художника, писателя или поэта не может объяснить свое творчество, а Вы написали, отказываясь комментировать свой библейский ансамбль — «не мне его комментировать. Произведения искусства говорят сами за себя». — Это правда, но все же Вы знаете для чего, почему Вы выбрали эту тему — вернее, почему эта тема вам так близка?

«Я неверующий, — говорит Марк Шагал — но Биб-

лия мне кажется самым большим источником поэзии всех времен».

Я прибавляю: — и источником нашей цивилизации; живопись, краски — вдохновлены любовью. Если всякая жизнь идет непреодолимо к своему концу, не должны ли мы, пока живем, раскрашивать ее красками любви и надежды? В этой любви скрыта социальная логика жизни и корень всякой религии.

То же самое написал Шагал и для открытия выставки. — «В искусстве и в жизни все возможно, если основано на любви».

Я говорю, что когда я вошла в концертный зал, в синее его сияние, то почувствовала какое-то успокоение.

Это обрадовало Шагала: «Правда? Это очень важно! За исключением больших картин — гуаши и офорты будут потом убраны, там будут происходить другие выставки. Это не только музей Шагала, но я хотел бы, чтобы он стал духовным очагом для всех, кто захочет. Вот сейчас подготавливается выставка при участии французских музеев на тему «Вокруг царя Давида». Будут, вероятно, и концерты».

— Чудесная тема, — говорю я, — но все-таки если Вы в Вашем искусстве и в Вашем отношении к миру движимы любовью, то ведь это — религиозное чувство, и Ваше желание создать духовный центр в музее Шагала тоже акт веры.

Но Шагал повторяет: «Я неверующий, но если мое искусство вдохновляет верующих — это прекрасно».

Он встает для предвечерней прогулки: «а то спать не буду» — и уходит один в парк.

Напечатано в «Р. М.» № 2969, в октябре 1973 г. по случаю возвращения Шагала из СССР.

ИЗ МОЕГО АЛЬБОМА

СЛЕГКА похожий на альбомы «онегинских» девушек XIX века, одетый в кожу с золотыми тиснениями, украшенный романтическими букетиками по углам, он был мне подарен, когда я стала невестой. На первой странице я старательно, совсем не своим обычным почерком, вывела «г. Париж, 21 мая 1926 г.». Альбом был поручен А. М. Ремизову. Он вернул мне его обратно, как подарок на свадьбе, поэтому и открывается он замысловатой ремизовской свадебной грамотой.

«Дана сия обезьянья свадебная грамота княжне Зинаиде Алексеевне Шаховской и Святославу Святославовичу Малевскому-Малевичу в знак возведенья в кавалеры обезьяньего Знака 1 ст. Зинаиду Алексеевну Малевскую-Малевич 1 ст. Петушиным Гребешком Святослава Святославовича Малевского-Малевич с Персидской фисташкой и голубиным перышком обезьяньей великой и вольной палаты».

Налево государственная печать и дата 21. 11. 1926. Внизу подписи:

«Царь Обезьяний Асыка собственнохвостно. Полпред Евразии кав. обез. зна. П. П. Сувчинский, полпред Турции ММ. Тер-Погосян, Осв. обезвелволпала С. Шаршун».

(Все три последние подписи одним и тем же почерком, вероятно, самим Алексеем Михайловичем, но разборчиво). Внизу:

«Скрепил и деньги яблоками получил б. канцелярист Обезволпала Алексей Ремизов».

В правом углу наверху гербовая марка (обезьянья).

Уезжая в 1927 г. в Конго, альбом я поручила снова Алексею Михайловичу, потом он долго странствовал, отдельно от меня, но всегда счастливо возвращался ко мне обратно, украшенный иногда незнакомыми

мне подписями и стихами на неизвестных языках. Кто был, например, Алжирдас Мочински? Когда альбом находился в моих руках, то вписывали в него и собратья, молодые тогда поэты, на столиках монпарнасских кафе.

Писали и французские, и бельгийские поэты, Поль Фиренс, Пьер Нотомб, Мело дю Ди, Роберт Вивье, Жюль Сюпервьель, китайский поэт Ли, японский музыкант Миошоки, болгарский поэт (и дипломат) Георгиев, испанские художники Лаухерта и Педро де Валенсиа, бельгийские художницы Ивон Перрен и Жанна Ле Пла, и известный рисовальщик Жеа Аугсбург. Он изобразил одно поразившее меня зрелище: проезжая в 1938 году мимо площади Пирамид я увидела с изумлением, что Орлеанская Дева держала в своих руках... великобританский флаг*). Вечером этого же дня, обедая на Монпарнасе с Жеа Аугбургом, Полем Эмиль Виктор, полярным исследователем и Шарлем Плиснье, первым иностранным лауреатом (бельгийцем) Академии Гонкур, я рассказала об этом и Жеа нарисовал Жанну д'Арк с флагом и надписью: «Жанна была святая — она держала английский флаг».

Написала мне также в альбом графиня Панж де Брой либеральные строки своей прабабки, мадам де Сталь.

Но тут ограничиваюсь русскими записями, сожалея, что технически трудно воспроизвести и рисунки, их украшающие или поясняющие. Так, например, Владимир Набоков нарисовал забор, над которым какая-то завитушка и пояснил — пояснение надо читать, перевернув альбом снизу вверх — «Извощик едет за забором». А набросок элегантного кота во фраке, с надписью «я не хочу писать стихов», подписан: Андрей Солнцев Засекин. На самом деле автор его — Илья Голенищев-Кутузов, вернувшийся в СССР и там умерший. Не менее шутлив, но более трагичен, из-за

---

*) Англ. король Георг VI и королева Елизавета посетили Париж.

смерти автора в гитлеровском лагере, и рисунок мышки: «Мышку нарисовал Юрий Мандельштам» 1932 г. А через страницу, от июля того же года, неровным, неряшливым сбитым почерком: «Я надеюсь, что Ал Броун побьет Кида Франсиса, а также, что хоть что-нибудь выяснится насчет «Прометея» — области жизни интересные и настоящие».

После «что» первой строчки наискосок и поперек странички вставлено:

«потому что он принадлежит к отходящему спортивному поколению, как и я».

И еще, в скобках, после «Прометея»:

«Что действительно страшно важно».

Загадка погибшей подлодки «Прометей» открыта не была, а подписавшийся «Преданный Вам Борис Поплавский» год спустя трагически погиб.

——— • ———

Что Вы замуж вышли за
Малевского — это дело
хорошее.

И. Сувчинский

Париж, 16/II 27

Краткая история русской интеллигенции

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ

Некрасов

А мы просо сеяли, сеяли...
А мы просо вытопчем, вытопчем.
Народная песня

Собрал К. Мочульский

Париж 10. 11. 26

Что замуж вышли — не такая уж беда; через это надо пройти. Второй этап жизни начали. Третий — опыт возврата к первому юношескому. А четвертый — ряд ухищрений, чтобы ускользнуть от итогов. Так вот человек и льется, никак не успокоится.

Главное в жизни — чаще улыбаться, даже когда не очень хочется. И чтобы было тепло. Очень желаю Вам тепла в жизни.

26. 12. 25
Париж

Мих. Осоргин

Отрывки из **стих. «СЕРЫЕ ПТИЦЫ»**

Мы серые птицы, мы птицы
печали
Мы песни страданья одни
можем петь
Мы здесь на чужбине... с
гнезда нас согнали
Нам некуда дальше лететь...

Мы серые птицы... Мы птицы
печали
Но сильными будем
душой до конца
К родной стороне, из
ненужной нам дали
стремятся все наши сердца!

Кн. Федор Касаткин-Ростовский

---

6 сентября 1931.

Пусть дружба и любовь наша, Зика
милая, сделают еще более верным
наш боевой клич:
«Не так страшен черт как его Малевич»

Любящий Тебя горячо брат
Петя
(Петр Ник. Малевский-Малевич)

О музыки крепчающий прибой!
Я не противлюсь, нет. Плыву, тебе покорна,
Захлебываюсь этой синевой
И пролетаю над пучиной черной.

Тяжелый взлет, и падаем мы вновь.
Сквозь темный гул слышнее голос вешний,
На гребне волн смельчак несет любовь
И опускает на песок нездешний.

А флейта машет беленьким платком
Сквозь влажный сумрак — вечер расставаний —
И забывается тяжелым сном
Свинцовой паузой последних ожиданий.

Мы засыпаем вместе с флейтой. Тише.
Мы засыпаем с флейтой как с сестрой.
На нас идет победоносный строй
Луной, апрелем поседелых вишень,

Нас засыпает цветом, как землей.
Мы задыхаемся в душистой груде.
Вселенная звенит, звенит мольбой
О невозможном и прекрасном чуде.

Мы не сумеем, смертью смерть попрать,
Восстать из тьмы под возглас петушиный
И нас оплакивают сонмы трав
И опускают в царство тихой тины.

Но даже здесь, на дне, не сбросить груза
Воспоминания — последний трепет рук.
Платочком белым плещется медуза
В зеленоватом сумраке разлуки.

А. Берлин
Париж. 1929

Дорогой Зинаиде Алексеевне
в первый день знакомства

Не надо говорить усталому о том,
Что Бог вознаградит за слезы без ответа,
Не лучше ли уснуть, не лучше ли потом
Не видеть никому не нужного рассвета?

Я многое узнал, когда пришла зима
И снег покрыл людей, деревья и дома.

Борис Закович
Paris, le 7 juillet 1932

От сердца в кровь вошел огонь
И он идёт живой и жёсткий
По жилам в бледную ладонь
На голубые перекрёстки.

И вот до кончиков ногтей,
Под кольцами и у запястья,
Я чую звонче и густей
Струю пылающего счастья.

И как мгновенья хороши
Последние перед началом
Когда блестят карандаши
Обточенным весёлым жалом.

Поют беззвучно провода
И я пою — глухонемая,
И лишь бумага, как слюда
Трепещет, звуки принимая.

1946

Милой Зике, которую с радостью всегда всюду встречаю, начиная с 1923.

(Алла Головина)

ЛЮБОВЬ:

Ятаган? Огонь?
Поскромнее, — куда как громко!

Боль, знакомая, как глазам — ладонь,
Как губам —
Имя собственного ребенка.

Прага, декабрь 1924 г.

Марина Цветаева

Медон, 3-го июля 1927 г.

———•———

Пепел в огне остынет,
Сон растает, жизнь исчезнет
Птицей перелетной сгинет
В синей и холодной бездне.

Память о минувшей страсти,
Память о минувшей боли,
Память о минувшем счастьи
Ветер развевает в поле.

И в ночи групец бесчинный
Попирая прах ногами
Будет петь о счастьи вечном
Под пустыми небесами.

Влад. Смоленский

26/XII/31.
Париж

Это только кажется, будто мы
разговаривали о литературе —
на самом деле говорили о том,
что человеку нужно делать.

Марк Слоним

Брюссель, декабрь 1933

«Изучение прошлого есть лучший путь к пониманию настоящего и предвидению будущего», — трюизм слишком часто забываемый.

А. Экк

(Проф. А. Экк — историк, специалист русского средневековья.)

Дорогой, очаровательной
и горячо любимой

Зинаиде Алексеевне
Шаховской

на память о нашем сотрудничестве
и — вообще — на память.

Юрий Анненков
1969.

Я начинаю верить в Вашу характеристику русского Парижа и русского Брюсселя — глядя на Вас, уже несколько часов не без некоторого изумления: я не знаю что значит Зинаида, но Ваше имя — Жизнь.

Я искренно рад, Зинаида Алексеевна, что с Вами так неожиданно познакомился.

Юрий Софиев

1/IX-31
Париж

—— • ——

З. А. Шаховской

Слетает с небес вдохновенье
На тех кто печален и строг
И легкое льет дуновенье
Его ледяной холодок.

Как будто здесь кто-то незримо
Коснулся дыханьем виска
И словно напев Серафима
Созвучий несется река.

Поют эти звуки — и снятся
Миры небывалые нам
И души, их вспомнив, стремятся
К забытым родным берегам.

Ю. Терапиано

26. XII. 1968

О горечи любви, о горечи страстей,
О невозможном, о неповторимом,
О гордости мучительной моей,
О даре музыки неоценимом

В часы безсонницы, о, видит Бог,
С каким стыдом, раскаяньем, безсильем
Я думаю, предельно одинок,
Предельно тяготящийся усильем,

Злопамятный, ленивый, жадный, злой.
И нет любви, нет дружбы, нет ответа,
И в сотый раз сужу мой путь земной
И ненавижу и люблю все это,

И снова проклинаю и опять
Все: клевету, и праздность, и страданье,
Всю жизнь мою готов я вновь принять
Без воли, рассужденья, без сознанья.

Да, в этой слабости и темноте,
Да, в этой боли, в ненависти, в муке,
В надежде, в ожиданьи, в слепоте,
В биеньи сердца — властном, страшном звуке

Такое напряженье чистоты,
Такая воля к высоте желанья,
Что весь мой грех, весь ужас: я и Ты
Не можем отравить очарованья.

Ю. Терапиано

15/V/32

Выскальзывает жизнь из наших рук
И с каждым днем все больше беспокоит.
Звено к звену плетется цепь разлук —
Печальнейших разлук с самим собою.

И все стыднее говорить о том,
Что холодно, что будет холоднее.
О том что очень трудно жить вдвоем,
Но одному, мой друг, еще труднее.

Уже о том, что некуда бежать
От похоти тупой и торопливой —
О том, что отвращенье и гадливость
Мне с каждым днем труднее побеждать.

А спутники? — Не видно и не слышно!
И вот о том, что в тридцать слишком лет,
Лет безпощадных, ничего не вышло.
И счастья не было и нет.

Юрий Софиев

Paris, 9/XI/32

———— • ————

Виновата-ли ты в чём
Что любовь любила?
За твоим была плечом
Вся земная сила.

Мейстер Эмилий
(Н. Татищев)

12/XII/68

В САДУ

День ветреный и яркий
И белый дом был пуст.
Сидят в осеннем парке
З. А. и некий Пруст.

В бассейн вокруг фонтана
Слетел узорный лист.
Средь заросли платана
З. А. и эгоист.

Персидских два павлина
Гуляли на лугу.
Я никогда, о Зина,
Умышленно не лгу.

(а неумышленно — случается)

Ник. Татищев

Зинаиде Шаховской

Мне все известно заранее,
Ничем теперь не смутишь
И только в воспоминаниях
Покой и майская тишь.

Цветы на синих подпорках
Закат, пролеты аллей,
И глаза луны дальнозоркой...

И сжимается сердце горькое
Сладчайшей из всех болей.

София Прегель

6/12/68

Стану я благословясь, пойду перекрестясь, из избы в двери, из двора в ворота, выйду в чистое поле, в подвосточную сторону. В подвосточной стороне стоит изба, посреди избы лежит доска, под доской тоска, плачет тоска, рыдает тоска, белого света дожидается, белый свет красное солнышко дожидается, дуется и веселится. Так раб Святослав меня, рабу Зинаиду, дожидался бы радовался бы, не мог бы без меня ни жить, ни быть, ни пить, ни есть, ни на утренней заре, ни на вечерней, ни днем при солнце, ни ночью при месяце. Как рыба без воды, как младенец без матери, без материна молока, без материна чрева не может жить, так раб Божий Святослав без рабы Божией Зинаиды, не мог бы ни жить ни быть ни пить ни есть ни на утренней заре ни на вечерней, ни днем при солнце, ни ночью при месяце ни при частых звездах, ни при буйных ветрах, въедайся тоска впивайся тоска, в грудь, в сердце, в живот рабу Святославу, разродись, разойдись по всем костям, по всем жилам его ноётою, сухотою, по рабе Зинаиде. Слово мое крепко, силу могучу не превозмочь. Аминь, Аминь, Аминь.

Рабам Божиим

Зинаиде и Святославу

Малевским-Малевич

Юл. Кутырина

15-го апреля 1934 г.

Бренны мы, и, бренные, блаженны!
Легче плоть и выше, выше Дух...
Братья, братья, будьте совершенны!
Тонче зрение и тонче слух...

И кружатся листья золотые,
И кружась, шуршат и шелестят,
И деревья: светлые, святые,
Неподвижно небу предстоят.

Ничего не жалко и не нужно,
Ничего не страшно — даже мне,
Пусто, гулко — и свободно дружно,
Ясно, сухо — чудно в тишине.

Ю. Иваск

1947

——— • ———

Провода, паровозы, пути,
Полустанок железнодорожный...
От людей еще можно уйти,
От себя убежать невозможно.

Поезд мается, время бежит,
Ветер шумит и годы калечат
И сложнее становится жить —
Не с людьми, а с собою конечно.

К. Померанцев

6-III-67
Париж

Зинаиде Алексеевне —

в благодарность за львиный зуб

экзотического происхождения (authentique)

и с пожеланиями совершенно

идеального благополучия, роскоши

и вообще всех самых прекрасных

вещей.

Гайто Газданов

5. VII. 30. Париж, Closerie des Lilas.

Die Muse Küsst nur Gesichter mit scharf
ausgeprägten Profil —
У музы, стало быть, хороший вкус. —
Как нибудь, в Париже, в Café Murat —
У Porte d'Auteuiil — мы с Вами, Зинаида
Алексеевна, об этом потолкуем. Идет?

А. Даманская

Брюссель, июль, 1934 г.

Будем же помнить о старом
парижском доме и его
покровителе добром и сумасшедшем с хорошим чувством.

И. Шкот

16/V/32 г.

ЗИНАИДЕ АЛЕКСЕЕВНЕ ШАХОВСКОЙ
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ
РУССКОЙ МЫСЛИ

Не умею писать
Ни хвалебных речей, ни приветствий,
Но уверены будьте,
Что в годину потерь и невзгод,
Если все Вас покинут,
— А ведь всякое в жизни бывает! —
И кораблик по прихоти волн
К берегам безымянным помчится, —
Все лишенья, труды
С Вами верный сотрудник разделит —
Вы — на мостике на капитанском,
Он — у топки, коль будет нужда.

Ваш, всегда и повсюду.

Гелиотропов, Олег.

(О. М.)

Ольга Можайская (Емельянова) 1973.

... И этот день, — его забыть нет силы, —
Когда впервые рано по утру,
Меня тропинкой снежной подводили
К надменному и грозному Петру.

Это стихи о Петербурге и
Медном Всаднике, но их
можно было бы сделать бо-
лее подходящими к случаю:

... И этот день, — его забыть нет силы, —
Когда в Брюсселе, в предвечерний час
Меня к Петру и «деве» Вы водили
И Петр сердился на бесстыжих нас...

Bruxelles
19 - III - 1935

Л. Штейгер

—— • ——

6 сент. 1934 г.
Брюссель,

Мне хочется, чтобы то большое и светлое,
что определяет Ваш жизненный путь,
стало для Вас самих еще более близким,
а для других — еще более видным в Вас.

Спасибо Вам, милая Зинаида Алексеевна.

Анатолий Алферов

Когда вот так меня просят написать в альбоме и я говорю, что не умею — мне не верят. А мне это труднее, чем написать рассказ. Почему? А вот почему.

Помню, я раз сидел в Коктебеле на пляже, с одной молодой поэтессой. Возле нее — два ее мальчишки. Один спрашивает: «Мама, это ты меня родила?» — «Я». — «А Вадю тоже ты?» — «Тоже я» — «Ага... (пауза). А ты можешь нам собачку родить? Ну, пожалуйста! Это же совсем просто, она маленькая!»

И никак мальчишка не хотел поверить, что собачку маме родить труднее, чем Вадю...

Евг. Замятин

7. 12. 1933

———•———

Последние страницы альбома напоминают, что в 1939-40 годах он маялся в походной сумке сержанта французской армии Андре Маршана, вместе с товарищами бродившего по Франции. На этапах они мне рисовали, тогда еще молодые, а ныне известные — Брианшон, Жиес, Таль-Коат, Легельт.

Альбом же после войны вернулся ко мне, свидетелем всяких странствий и всяких судеб.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ACHEVE D'IMPRIMER SUR LES PRESSES DE LA SOCIETE D'IMPRIMERIE PERIODIQUES ET D'EDITION EN JUIN 1975 — 32, RUE DE MENILMONTANT, 75020-PARIS.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр. 29 — над первым письмом следует читать: «(на почт. штемпеле 9/12-26, получ. 5/3-27)».

Стр. 160 — в первой строке второго абзаца след. читать: «прочтя в 1923 году».

После страницы 224, над фото «Эстония 1935 г.» — фото Г. Адамовича (из арх. Бахраха).

Стр. 230 — в 7-ой строке снизу след. читать: «Уступаю М. Ц. со смирением».

Стр. 263 — в письме М. Осоргина, 5-ая строка сверху, след. читать: «Так вот человек и бьется» и дата: «26. 12. 26».

Стр. 267 — в стих. В. Смоленского, в 3-ей строфе, 1-ая строка: «И в ночи глупец беспечный».

Стр. 271 — последнее стихотворение (подписанное Мейстер Эмилий) принадлежит В. Мамченко.

Стр. 278 — в 4-ой строке снизу след. читать: «а ныне известные художники».



Автор в 1949 г. в Париже —
когда вышел ее первый французский роман «Europe et Valerius»

Зинаида Шаховская родилась в Москве, в 1906 году, эвакуировалась с матерью и сестрами в феврале 1920 года из Новороссийска в Константинополь. Училась в Константинополе, Брюсселе и Париже. В 1926 году вышла замуж за Святослава Малевского-Малевич (1905-1973).

В 1940 г. была в санитарных частях французской армии, затем принимала участие в Сопротивлении,

сперва в оккупированной зоне, затем, с 1941 г. — на юге Франции. В январе 1942 г. была переброшена через Гибралтар в Англию (где, после Дюнкерка, находился ее муж, доброволец бельгийской армии). В Лондоне была редактором «АФИ» (Французского информационного агентства), с 1945 по 1948 — военным корреспондентом при союзных армиях в Германии, Австрии и Италии (присутствовала на Нюренбергских процессах) и корреспондентом в Греции во время гражданской войны.

Много путешествовала, жила в Экваториальной и Северной Африке, побывала в США, Мексике и Канаде. В 1956-57 гг. была с мужем, в то время бельгийским дипломатом, в Москве.

Сотрудничала в русских эмигрантских журналах и в западной прессе:

«Современные Записки», «Русские Записки», «Новый Журнал», «Континент» и др.

- в Англии: The Contemporary Review, The Message, La France Libre ;
- в Швейцарии: Le Labyrinthe, Der Weg ;
- в Бельгии: La Revue Générale, La Nouvelle Revue, Le Soir, La Cité Chrétienne, Le Journal des Poètes и др. ;
- в Германии: Die Welt am Sontag ;
- в США: The Russian Review ;
- во Франции: Les Nouvelles Litteraires, Le Figaro Litteraire, Le Revue des Deux Mondes и др.

С 1960 по 1968 заведовала культурными передачами русской секции ОРТФ.

С 1968 года — главный редактор «Русской Мысли».

Книги и работы

По-русски :

- 3 сборника стихов — «Уход» 1934, «Дорога» 1935, «Перед Сном» 1970.

По-французски :

- « Une Enfance ». La Renaissance du Livre. Paris 1939.
- « Hommage à Pouchkine ». Anthologie. Journal des Poètes, 1937.
- « Vie d'Alexandre Pouchkine ». La Cité Chrétienne, 1937.

Романы, под именем Жак Круазе:

- « Europe et Valerius ». Flammarion. Paris 1949. Prix de Paris.
- « Sortie de Secours ». Plon. Paris 1952.
- « La Parole devient Sang ». Amiot. Paris 1955.
- « Jeu de Massacres ». Grasset 1956.

Исторические работы и мемуары:

- « Ma Russie habillée en URSS », Grasset Paris 1958, перев. в Германии — Piper Verlag, в Англии — Jonathan Cape, в США — Putnam's, в Швеции — Norstedt & Soners, а также на фламандский, китайский и др. языки. Выпущена «книжными клубами» многих стран.
- « La vie quotidienne à Moscou au XVII siècle ». Hachette 1963. (Премия Франц. Академии).
- « La vie quotidienne à St Petersbourg à l'époque romantique ». Hachette 1967. (Премия Франц. Академии).
- « Tel est mon siècle ». Mémoires. Presses de la Cité. Paris.
  1. Lumières et Ombres. 1964 и Piper Verlag, München.
  2. Une manière de vivre. 1965 и Piper Verlag, München.
  3. La Folle Clio. 1966 и Piper Verlag, München.
  4. La Drôle de Paix. 1967.

В 1964 г. были изданы по-английски:

- « The Precursors of Peter the Great ». Jonathan Cape. London.
- « The Fall of Eagles ». Harcourt, Brace & World. New York.

Зинаида Шаховская — член « Institut des Hautes Etudes Slaves » при Сорбонне, Общества Французских Писателей, Пен-Клуба и Синдиката французских критиков. Кавалер Почетного Легиона. Croix des Evadés. (Бельгия). Офицер Ордена Искусств и Словесности. (Франция).